

# Новая Польша 12/2018

## 0: Прощание

Дорогие читатели, это последний номер «Новой Польши». После девятнадцати лет существования наш журнал перестает выходить. Впрочем, бумажная версия оказалась недоступна в России уже с марта этого года. В следующем году появится новое издание с прежним названием и новой редакцией. Мы старались по горячим следам информировать вас о событиях в нашей стране, о культурных, политических, экономических, общественных проблемах. Представляли достойные вашего внимания произведения польских писателей – современных и не только. Обращались к вопросам истории, затрагивая темы, которые, как нам казалось, могут заинтересовать русскоязычного читателя. Мы надеемся, что к подшивкам «Новой Польши», хранящимся в библиотеках и доступным в Интернете, будут обращаться те, кто интересуется нашей страной и ее культурой. Ведь большая часть собранных журналом материалов не устаревает. Спасибо вам, что вы нас читали, спасибо авторам и блестящим переводчикам, решавшим зачастую труднейшие задачи. Всего вам самого доброго! До встречи в лучшие времена. Этого мы желаем вам и себе в канун Рождества и Нового 2019 года.

*Редакция*

## 1: Экономическая жизнь

Прямые зарубежные инвестиции в польскую экономику составили в 2017 году 35 млрд злотых. Это наполовину меньше, чем в предшествовавшем году. Главная причина спада — отток заграничного капитала, затронувший целый ряд отраслей. Данные Национального банка Польши, опубликованные в издании «Дзенник. Газета правна», свидетельствуют, что отток инвестиций был особенно заметен в розничной торговле. Баланс купленного и проданного инвесторами в Польше составляет минус 11 млрд злотых. Общий годовой баланс прямых инвестиций все же положительный, однако оказался самым низким с 2013 года, когда заграничные инвестиции в Польшу составили 11,4 млрд злотых нетто. Экономист Форума ответственного развития Александр Лашек обращает внимание, что в пересчете на процент ВВП прошлогодний приток инвестиций в Польшу был ниже среднего в регионе Центральной и Восточной Европы.

Если раньше можно было пользоваться благоприятной конъюнктурой в Европе (где продавалось 80% польских экспортных товаров), то теперь, когда ситуация ухудшилась, Польша должна считаться со спадом заказов от зарубежных контрагентов (количество экспортных заказов снижается в самом высоком темпе за четыре года). Ясно, что польская экономика не может оставаться в стороне от негативных европейских трендов, о чем многие польские политики забывают. К зарубежным трудностям добавляются внутренние проблемы, препятствующие развитию, например, не способствующие предпринимательской деятельности правовые нормы или нехватка работников, которую не в состоянии компенсировать приезжие из Украины. Фирмы не инвестируют и не развивают производство, если некого поставить у станка. То, что отстают даже те, кому благоприятствует нынешний цикл конъюнктуры, имеет для финансов страны далеко идущие последствия: в бюджете не будет прибавляться денег, чего не возместит ужесточение налоговой системы. Более того, те польские фирмы, на которые опирается финансовая система государства, в следующем году должны будут столкнуться со значительным повышением цен на электроэнергию и газ. «Меньше денег в государственной казне означает, что перестанут вводиться новые социальные программы и разбазариваться общественные средства», — пишет в «Жечпосполитой» Павел Рожинский. Для правящей партии эта ситуация крайне неблагоприятна, поскольку может негативно отразиться на результатах предстоящих парламентских выборов.

Прекрасная конъюнктура на рынке труда и растущие заработки сказываются на сокращении рабочего времени как наемных работников, так и предпринимателей и самозанятых. По данным Главного статистического управления, в первом полугодии текущего года профессиональные обязанности занимали у поляков в среднем 38,7 часов в неделю; это на 2 часа меньше, чем двумя годами ранее, и самая низкая цифра за все годы, когда проводились исследования. Данные Евростата показывают, что среднее время работы в Польше систематически

сокращается с момента вхождения страны в Европейский союз. Это влияет на развитие экономики и улучшает систему труда. В последние годы такую тенденцию укрепляет рост заработной платы. «Чем выше оплата труда, тем короче рабочее время», — пишет на страницах «Жечпосполитой» Петр Левандовский, руководитель Института структурных исследований. А проф. Мария Дроздович-Бец, экономист из Главной торговой школы, отмечает, что сокращению времени работы способствуют развитие социальных пособий и политика повышения минимального заработка и часовой ставки. Это ослабляет стремление работать сверхурочно.

Почти 7,5 тыс. гостей из 31 страны привлекла ярмарка «Кельце — Bike Expo». В ярмарке нынешнего года приняли участие 230 фирм из 15 стран, в том числе из Австрии, Китая, Германии, Тайваня, Италии. Больше всего было польских велосипедных фирм — 170. Польский рынок велосипедов оценивается в миллиард злотых. Как сообщает Польское объединение велосипедной промышленности, 90% рынка занимает продажа новых велосипедов. Поляки покупают всё более дорогие модели — в этом году они потратили на велосипеды 1,2 млрд злотых. Польша в течение многих лет остается одним из крупнейших производителей велосипедов в Европе. Доля Польши на европейском рынке начиная с 2015 года держится на уровне 9%, что обеспечивает стране четвертую позицию за Португалией, Германией и Италией. Развитие велосипедной отрасли повлекло за собой и рост числа отраслевых выставок. Экспоненты «Bike Expo» подчеркивали, что велосипед перестал быть сезонным товаром. Продажи идут круглый год, а интернет-магазины переживают шторм: поляки все чаще приобретают велосипеды и запчасти через интернет и порталы аукционов. Нынешняя ярмарка «Bike Expo» прошла под знаком электробайков. Предполагается, что по европейским дорогам в 2030 году будет ездить 6,5 млн велосипедов с электрическим приводом.

На китайском рынке неожиданно возникли нехватки продовольствия, чем польские производители и экспортеры намереваются воспользоваться, чтобы начать сотрудничество с Китаем, — отмечается в докладе «Inside China», подготовленном экспертами Варшавского университета. Важнейшим фактором стал рост напряженности между США и Китаем, в результате чего установлены 25-процентные пошлины на импортируемые из США продовольственные товары. Импорт сорго, кукурузы и пшеницы снизился соответственно на 62,5%, 63,7%, 43,03% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По мнению авторов доклада, после введения повышенных пошлин импорт американской свинины стал нерентабельным. Производство мяса в самом Китае осложняется из-за дорогой сои и быстро распространяющейся эпидемия африканской чумы свиней. Решение китайских властей вернуть в страну польский экспорт птицы открывает перед польскими предпринимателями широкие возможности. Такого решения польские производители мяса птицы ждали около двух лет — в свое время экспорт приостановился из-за случаев птичьего гриппа в Польше. Сейчас китайский рынок открыт для пяти польских предприятий. В очереди на получение допуска на экспорт в Китай — почти два десятка польских производителей мяса птицы.

Европейский парламент вводит обязательные залоговые цены на пластиковые бутылки. Польша выступила против этих мер. Как полагают польские власти, ввести залоговые цены на пластик — значит поддаться безумию Брюсселя и Страсбурга. Но есть и другая сторона медали. Обратимся к пивоваренной промышленности. Казалось бы, что в Польше преобладают банки и не подлежащие возврату бутылки. Однако это не так: производители пива сообщают, что есть и возвратная стеклотара, 90% которой вновь поступает на пивоварни. Возврат мог быть более значительным, если бы не система наклеек и ярлыков, практикуемая преимущественно небольшими магазинами для подтверждения, что возвращаемые бутылки приобретены именно у них. Цена возвратной бутылки невелика, но в масштабах всей страны — это огромный оборот, существенный также с точки зрения экологии. Что случится, если это море пива разлить по банкам и бутылкам одноразового использования? Как сообщает газета «Жечпосполита», в Польше существует проблема с чрезмерным количеством отходов, но в нынешних реалиях трудно представить, что это торговля понесет все расходы, связанные с созданием системы сбора тары из-под напитков и возвратом залоговой цены.

Е.Р.

## 2: Ложное послание, отравленные умы

*Эксперты и политологи ломают головы — почему, впервые с коммунистических времен, на польской сцене появилась партия, абсолютно устойчивая к имиджевым потерям? Этого не объяснить — как в былые времена — цензурой, политическим контролем и беспрестанными происками секретных служб. Нет, до такого в Польше еще далеко, хотя горячие головы от оппозиции уже кричат о «ползучей диктатуре».*

СМИ — исключая те, которым присвоено обманчивое определение «национальных» — по-прежнему плюралистичны. Хотя маршалек Кухцинский делает в Сейме всё, чтобы пресечь неодобрительную болтовню, у

оппозиции еще остается достаточно инструментов для успешных пререканий с властями. Впрочем, куда ушли те времена двадцатилетней давности или даже более поздние, когда, затаив дыхание, мы следили за телевизионными трансляциями заседаний Сейма? А тут еще интернет, которому никто не указ... Несмотря на это, никакие ошибки или конфузы властей предрежащих не в состоянии реально поколебать их рейтинги. Другую партию давно уже обрушили бы серийно совершаемые ошибки, глупость и самоуверенность лидеров, оскорбления, которыми они забрасывают противников, ложь, при помощи которой они искажают историю. Начиная с пресловутого «худшего сорта», к которому председатель правящей партии «Право и справедливость» причислил всех, кто не поддерживает ПИС — на подобную пощечину, адресованную, по меньшей мере, половине нации, не отваживались даже коммунисты. До уже повседневного нарушения конституции и, наконец, «законодательного поноса» в Сейме, высшей точкой которого стало недавнее обновление закона об Институте национальной памяти, продавленное председателем коленом (хотя и больным<sup>Имеется в виду больная нога Председателя ПИС Ярослава Качинского — Здесь и далее примеч. пер.</sup>) в издевательском для польского парламента темпе. Даже коммунисты снабжали свои политические маневры несколько более изысканными, пусть не менее лживыми, декорациями. Правящей ныне партии не нужно даже этого: в худшем случае, она опустится вниз на пару недель, после чего рейтинги опросов возвращаются к неизменным 35-40%. Беспомощная оппозиция может болтать всё, что ей вздумается.

### **Спокойствие, это всего лишь подкуп!**

Мы успокаиваем себя возгласом из этого подзаголовка. Ведь ПИС запустил социальные программы в неслыханных до сих пор масштабах, а народ после восьми лет правления «Гражданской платформы» — чересчур осторожно заглядывавшей в бюджет — изголодался по льготам. «Темный люд» не такой уж «темный» (перефразируя высказывание Яцека Курского<sup>Яцек Курский — глава польского государственного телевидения, которому приписывают фразу: «Запускаем, темный люд это купит» (о лживой кампании против политика Дональда Туска).</sup>) и своего не упустит, а укоренившиеся убеждения он меняет медленно. Во времена «социалистического благосостояния» все знали, что «у Герека есть, значит, Герек даст». Нужно лишь посильнее его прижать, а лучше всего припугнуть. Мы с неплохим результатом освоили это за время многочисленных политических кризисов в ПНР. Раз уж государство всё держит в руках и всё решает, то оно может и пошире открыть государственную кубышку. С тех пор изменилось лишь то, что сейчас есть выборы, а значит, вопросы нужно решать не на улице, а у избирательной урны.

Потому стремившаяся к власти партия раздавала обещания и быстро их выполняла: «500 плюс»<sup>«500 плюс» — польская государственная программа, предусматривающая ежемесячные выплаты семьям с детьми.</sup>, снижение пенсионного возраста (кого волнует, что пенсии скоро станут нищенскими?), минимальная оплата труда, школьные наборы, частично бесплатные лекарства для пенсионеров, доплаты ветеранам «Солидарности» и что там еще... Как не любить столь щедрую власть? Не хватило только детям-инвалидам, но они и их несчастные родители — слишком малая электоральная группа. Избиратель с удовольствием принимает все эти подарки и даже позволяет заморочить себя ими, но эйфория, проистекающая от легко добытых денег, проходит, инфляция — остановленная в 2014–2016 годах — уже тронулась с места, а в амбициозные экономические планы премьера Моравецкого не верит, кажется, ни один серьезный экономист. Хуже того, всё новые группы — раздраженные тем, что другие уже получили, а они еще нет — увеличивают свои требования и даже выходят протестовать. Достаточно небольшого колебания экономической конъюнктуры на Западе (особенно в Германии), чтобы рухнул наш экспорт, а вместе с ним бюджетные доходы и рабочие места в фирмах. Если успех ПИС приписать лишь раздутым социальным программам, то выборы в этом году партия еще как-нибудь выдержит, но уже на парламентских выборах через год ее судьба представлялась бы мне печальной.

Тем временем, ничто на это не указывает. Тогда давайте выдвинем другую причину неослабевающей популярности партии Ярослава Качинского: популяризированные в СМИ исследования д-ра Мацея Гдули в уездном городке в Мазовии, скрытым под загадочным названием «Мястко». Из них следует, что своей brutality по отношению как к оппозиции, так и к прежним элитам, различным меньшинствам (в том числе беженцам), а может, и по отношению к инвалидам, ПИС осуществляет дремлющую во многих поляках мечту о доминировании и силе. Отождествляя себя с ПИС, они чувствуют себя сильнее, не падают духом, утверждаются в своем традиционализме и неприятии современности.

Здесь мы уже ближе к ужасной истине о нас самих, но еще далеки от ее сути.

### **Злополучный польский сарматизм**

В апрельском номере журнала «Одра» опубликован мой текст «Сарматская Речь Посполитая 2.0». В нем я размышлял, почему нынешние польские власти в своей социальной педагогике (очень интенсивно практикуемой, в отличие от прежних правителей), в своей столь модной в последнее время «исторической политике» обращаются к сарматской традиции, к шляхетской, барочной и подверженной влиянию

контрреформации Речи Посполитой времен XVII и даже трагического для Польши XVIII века, хотя именно тогда государство было уже нездоровым, всё более неуправляемым и разрушавшимся?

Не нужно долго думать: во главе ПИС стоят не политические недотепы, а лидеры (а может быть, только один Лидер?), обладающие, по меньшей мере, каким-никаким знакомством с плохими трендами и невыгодными для Польши ветрами, которые возникли на рубеже тысячелетий и всё более доминируют на мировой сцене. Демократия увязает в кризисе, верх берет популизм и даже национализм. Европейский союз и НАТО в своем теперешнем виде перестают быть надежным гарантом нашей безопасности и даже независимости. Центр мира перемещается из Америки и Западной Европы куда-то в Азию, а может быть, скорее, распадается на множество враждебных центров. Усиливается терроризм. Быстро оказалось, что — шумно отпразднованное — вступление в западные структуры (в 1999 году в НАТО, пять лет спустя в Евросоюз) не гарантирует спокойного будущего. Куда идти, в какую сторону плыть в этом всё более бурном океане?

По отношению к таким вызовам возможна простейшая, но, конечно, не единственная стратегия. Я назвал бы ее «стратегией страуса», хотя настоящие пустынные птицы не прячут голову в песок в случае опасности. Нужно инкапсулироваться в традиционном национальном государстве, как можно менее связанном с широкими сообществами, независимом, замкнутом, ксенофобском, верящем лишь в собственные силы, увлеченном традиционными ценностями и, конечно, провинциально-католическом.

### **После нас хоть потоп**

Такое государство неспособно ни к построению более широких союзов, ни к активному противодействию угрозам, но обладает иммунитетом к новшествам, приходящим из «испорченного» окружения, способно пережить наихудшие времена в более или менее неизменной форме. Ведь такой, с победой контрреформации, стала шляхетская Речь Посполитая где-то в начале XVII века при правлении Сигизмунда III, после провала неудачного мятежа Зебжидовского. Этому государству еще долго удавалось сохранять внешние признаки прежней мощи, под шум гусарских крыльев грома шведов и москалей, и даже турок под Веной, но оно уже было размыто, неспособно к дальнейшим реформам, обречено на гибель. Его шляхетская нация была одурманена патриотической спесью, считая себя лучше остальной Европы, единственным продолжателем республиканских традиций античного Рима, не видя необходимости в переменах. Магнат Лукаш Опалинский в середине XVII века, незадолго до шведского потопа, писал: «Мы живем в безопасности, не зная ни насилия, ни страха. Нас не грабит солдат, не терзает мытарь, правитель не угнетает и не принуждает к повинностям... Мы занимаемся Речью Посполитой, поскольку нам это нравится». Вскоре, под городом Уйсце, его старший брат сдаст шведам без боя армию, защищавшую Великопольшу. Трудно найти лучший символ для той эпохи. Государство разрушалось, цвела мегаломанская спесь.

Этот возврат к сарматизму и слепому патриотизму тех времен — результат неверия в наши силы и способности, доказательство глубокого пессимизма стратегов, задающих сегодня тон. Политик не думает о том, что будет через двадцать или тридцать лет, он живет перспективой, в лучшем случае, двух выборных сроков. В этой перспективе столь деградировавшая Польша выживет. А после нас хоть потоп...

### **Виноваты чужаки и предатели!**

Однако почему же мы не обращаемся к несколько более ранним временам, к ренессансу, к опережавшим свою эпоху реформам той же самой Речи Посполитой, прежде чем она застряла в немощном, но самодовольном сарматизме? Ведь именно федеративное польско-литовское государство создало опередившую свое время, первую в Европе демократическую систему в масштабах державы, неплохо функционировавшую на протяжении почти двухсот лет. Но та, более ранняя Речь Посполитая была открытой, любопытной к миру, уверенной в своем будущем, заинтересованной в дальнейших реформах, убежденной не только в равенстве шляхетского сословия, но и в равенстве поляков и литовцев, католиков и протестантов, которые в определенный момент составляли почти половину польско-литовской шляхты. Но ведь не такой пример нужен сегодня правителям. Не такое сознание, не такие интересы. Даже не горькое и безжалостное для нашей истории суждение о том, почему нам не удалось удержать это направление, почему мы не распространили равенство и демократию на другие сословия, хотя бы на мещанство? Почему вначале рвавшийся к реформам слой шляхты проглядел великое перемещение центра мира к Атлантике, бурное развитие торговли и городской цивилизации? Почему он пассивно погружался в захолустный менталитет фольварков, где расцветал мегаломанский сарматизм, а Речь Посполитая превращалась в рабовладельческое государство?

Да, но тогда нам пришлось бы воскликнуть: «Наша вина!». А мы же невинны и чисты! Мы хотели как лучше! Мы всегда преданно держались своей веры, герба и ценностей. Были плацдармом, прикрывавшим Европу от язычества и раскола, только вот она не сумела нас оценить. В нашем крахе виноваты чужаки, а больше всего предатели! Ведь единственный урок, который мы извлекли из сарматизма, приведшего прямо к катастрофе разделов страны, это чувство обиды и разочарования.

### **Темный лик романтизма**

Польский романтизм XIX века, мучительно переживавший проигранные восстания и страдания народа, высосал

соки именно из того самого сарматизма, напитался им, освятил его. Он стал наследником падения сарматской Речи Посполитой, с ее тщеславием, близорукостью и чувством превосходства над «испорченной» Европой. Ведь суть польского романтизма именно в испытанной несправедливости и незаслуженных страданиях. Это Мицкевич назвал Польшу «Христом народов», приведенным на Голгофу за чужие грехи. Это Словацкий грезил о «всемирном духе», который через великие дела и великую боль сравнивается с Богом. Именно по его представлению польскость — это последняя и высшая стадия эволюции человека, через которую должны пройти все другие народы. Так возник романтический и мессианский патриотизм, которому необходимы поляки, но совершенно не нужна Польша. Когда она уже не является святой надеждой разбитых повстанцев, а становится нормальным государством, которым нужно мудро руководить, она просто мешает. XIX век был нашей величайшей национальной трагедией. Не только потому, что в конце предыдущего столетия пало одно из крупнейших государств тогдашней Европы, пусть уже подорванное и плохо управляемое. Не только потому, что это был век очередных проигранных восстаний, каждое из которых означало кровопролитие, бегство в эмиграцию, либо изгнание на каторгу, но каждое из них также ухудшало положение народа. Не только потому, что более счастливая часть Европы в это, потерянное для нас, время строила современные общества, форсировала реформы, создавала бессмертные достижения научно-технической революции, а нам оставались лишь бесплодные революции в борьбе за независимость. XIX век доказал каждому, кто чувствовал себя поляком, насколько глубоко это ощущение обиды срослось с польскостью, насколько чувствительным и необратимым оно выглядит. Он перепачкал болью, напрасной кровью и страданием каждую шляхетскую или интеллигентскую семью, очень многие буржуазные. Это чувство обиды и отверженности стало центральной точкой польского сознания, на него опирался польский романтизм в своих наивысших взлетах. И именно это является сутью национальной трагедии.

### **Уродливый суррогат патриотизма**

Именно такому романтизму, такой литературе, такой модели патриотизма учили уже в польских семьях при оккупации, а потом и в школах независимого государства в XX веке. Ни довоенная Речь Посполитая, ни ПНР, ни независимая Польша после 1989 года не пытались всерьез формировать разумный патриотизм, принимающий во внимание как то, в чем мы оказались великими, так и моменты нашей низости. Свободный от мании величия, находящий причины для славы не в поражениях, а в победах, достигавшихся силой не обязательно сабли, но также и ума. На собственную гибель это игнорировала, в частности, череда правительств и партий, руководивших страной после падения коммунизма. Не было попыток обратиться к наследию шляхетской демократии, на 250 лет опередившей предложение Монтескье о тройственном разделении властей и неплохо функционировавшей, пока не восторжествовал сарматизм. «Солидарность», крупнейшая в истории мирная революция, сегодня является полем стычек историков, роющихся в габэшных писульках, а не причиной для национальной гордости. Мы много говорим о битвах, чаще всего, проигранных; даже если речь заходит о победоносных сражениях с большевиками, мы видим их в свете «чуда на Висле», а не умно задуманного контрнаступления с юга на растянутые советские линии. Гордость за собственную страну — очевидная потребность для каждого человека, а этой потребностью послевоенное польское государство пренебрегло. И ПНР, и Третья Речь Посполитая. Голосуя за ПИС, граждане напомнили хоть о каком-то патриотизме и получили его уродливый суррогат.

Особой иронией кажется именно то, что «Солидарность» — когда она появилась во времена ПНР и вопреки этой ПНР — тоже обращалась к страдальчески-романтической мифологии. Особенно позже, при военном положении. Голоса разума были немногочисленны, и их не слушали. Но заметить и признать этот «темный лик» польского романтизма еще недостаточно, чтобы понять причины нынешнего отравления умов.

### **Плебейская Речь Посполитая**

Нынешние поляки — это крестьянско-шляхетская смесь с небольшой примесью мещанства (оно всегда было слабым) и еврейства (когда-то сильного, сегодня едва восстающего из руин). О шляхетской нации, шляхетской традиции, преобладающей в официальном течении польской культуры, мы знаем много и прекрасно это подтверждаем. Плебейским элементом — главным образом, крестьянским — пренебрегают; зачем им заниматься, ведь он постепенно растворяется в доминирующей шляхетскости, как исчезло деревенское обращение друг к другу на «вы», замененное шляхетским «пан». Ведь каждый хочет чувствовать себя более важным и считаться лучше, чем он есть. Однако, несмотря на «равнение наверх», на всеобщую шляхетскость (подлинную либо добавленную косметически), плебейство живет в душах большинства из нас и — пусть внешне и вытесненное — по-прежнему болит, как незалеченная рана, формирует наше сегодняшнее мышление, в том числе политическое. Выдает нас с головой, как пресловутые пучки соломы, торчащие из сапог недавнего мужика. Из грязи да в князи.

Шляхетская Речь Посполитая обоих народов не сразу стала рабовладельческим государством; еще в XVI веке, в период ее расцвета, барщина редко превышала один день в неделю. Лишь позже, во время контрреформации и постепенного упадка государства, она начала быстро расти, вплоть до полного закабаления крепостного крестьянина. Деревенский раб, поколениями живший, как животное, и что есть силы вкалывавший на

«ясновельможного пана», был освобожден не своими, путем вовремя предпринятых реформ, либо, в крайнем случае, народных восстаний, а чужими. Даже негры в Америке получили свободу от сограждан, хотя для этого потребовалась кровавая гражданская война. Не так в Польше, где — конечно — ранее были попытки присвоения крестьянам, евреям и мещанам гражданских прав, но всегда неудачные. Потребовались разделы и ликвидация шляхетского государства, чтобы за нас это сделали враги; первыми пруссаки, потом Австрия, наконец, русские. Польскому еврею также лишь оккупанты позволили выйти из гетто и кагальной юрисдикции. Странно, что в плебейской части народа вообще возникло какое-то чувство патриотизма. Но наверняка из всего крепостнического наследия проистекло и живет глубоко в душах плебейских потомков чувство обиды, еще усиленное деревенской нищетой в независимой Второй Речи Посполитой. Эта требовательная убежденность в несправедливой обиде не является — как того хочется сторонникам однобокого взгляда на историю — плодом лишь ПНР и посткоммунистической трансформации, резко обострившегося неравенства. Она сильно укоренена в нашей психике; именно поэтому мы так легко и беззаботно кричим: «Нам положено!».

### Шабаш обделенных

Народная обида отлично совместилась с барочным сарматским повествованием о прекрасной шляхетской нации, в качестве плацдарма Запада стойко сопротивлявшейся «восточному варварству» и еретической реформации, но так и не оцененной этим правоверным ядром христианства, всегда презируемой, нередко, отвергнутой. Особенно, когда она нуждалась в помощи. Источники разные, результат похожий. Одно замечательно удалось польской интеллигенции со шляхетской родословной: перенести в современность этот миф, этот темный и самый вредоносный лик польского романтизма, сквозь который сквозит как высокомерие, так и боль. Обе обиды соединились и отравили польские умы.

Красинский когда-то мечтал: «С польской шляхтой — польский люд», и это свершилось: плебейская обида по-братски обнялась с великопанскими сарматскими грезами, поскольку и там, и здесь всё та же убежденность в том, что История обошлась с нами не по достоинству, и — как писала поэтесса совсем другого народа — «мое поколение мало меду вкусило» «Мое поколение/ мало меду вкусило...» — из стихотворения А. Ахматовой «De profundis» — Примеч. пер. . Неважно, как было на самом деле, важно, что именно нам положены и подарки от власти, и репарации от поганных немцев. Таков результат страдальческого патриотизма проигранных восстаний и павших вождей, которому, начиная с рассвета независимости, полученной в XX веке, учатся в польской школе и которым пропитывают души всё новых поколений, даже если — а это здоровый рефлекс — иногда пытаются над ним посмеяться. Нынешней власти даже не нужно особенно стараться, достаточно продолжать и развивать то, чему положили начало предшественники. Дудочка крысолова без труда сыграет мелодию, приятную такому уху.

Итак, не будет конца убежденности в том, что мы лучше других, ближе Господу Богу, незаслуженно обижены судьбой, и теперь, наконец, можем выкричать эту боль и уязвленную гордость. Даже если бы эта уверенность начала выветриваться, ее можно легко разжечь, указывая на «черномазых», предательскую оппозицию, бездушный Евросоюз, кровожадную Россию, неблагодарную Америку или что там еще подвернется. Так что не финансовые подарки являются сильнейшим связующим веществом, объединяющим сегодня народ с его «направляющей силой», а общая фрустрация отвергнутой невинности. Ведь легче требовать от других, нежели критически смотреть на самих себя. И именно это самое страшное.

### Мы сделали для этого всё

Поэтому не будем удивляться тому, что мы имеем на сегодня. Не будем удивляться правящей партии, точно угадавшей свой шанс в совмещении шляхетского наследия польского романтизма — переполненного как обидой на мир, так и болью понесенных ран — с народным чувством обделенности и жалкой доли на протяжении поколений. Не будем удивляться, что из польского наследия выбирается сарматизм и Барская конфедерация<sup>Барская конфедерация (1768 г.) — объединение католической шляхты для защиты самостоятельности Речи Посполитой от Российской империи.</sup>, а не демократия ренессансной Речи Посполитой. Не будем удивляться прославлению всех обреченных во главе с «проклятыми солдатами»<sup>«Проклятые солдаты» — общее название антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций, сформированных в конце Второй мировой войны и после её окончания.</sup>. Не будем удивляться флирту с национализмом, лишь бы он не становился слишком шумным и не навредил на международной арене. Наконец, не будем удивляться тому, что всё это обильно поливается святой водой. И не нужно иллюзий: никто в мире не оценит народ, состоящий из раздраженных и требовательных неудачников. Мы сами сделали для этого всё. А справиться с искаженным сознанием будет очень трудно, и для этого, наверняка, будет недостаточно одного срока полномочий Сейма и Сената.

### 3: Лекции о Прусте [ч. 2]

Как я вам уже сказал, перед войной увидели свет только два первых тома «В поисках...» — «В сторону Свана». Только их не коснулась эволюция и композиционные изменения, произошедшие в годы работы Пруста, совпавшие с войной. Они же — наиболее детально проработанная часть его романа. Эти два тома уже содержат в себе первые вариации всех мотивов, составляющих канву следующих частей. Следующие части со всем их новым материалом, привнесенным войной, новыми впечатлениями, мыслями, со всем расширением и существенным переустройством представляют собой, тем не менее, лишь развитие и воплощение произведения, заложенного в части «В сторону Свана». Назовем его основные темы: французская провинция с отшельнической жизнью пожилых тетюшек-пенсионерок, с древним готическим собором, с пейзажами, описания которых пополняют золотой фонд мировой литературы, со старой няней, Франсуазой, которую мы встретим во всех томах романа, и которая станет типичным представителем портретной галереи сельских жителей «В поисках...».

Такова первая тема. Затем — детство, детские переживания, сыновняя и материнская любовь, отношения героя с матерью и бабушкой, которые служат центральным сюжетом. Ежевоскресные походы мальчика в церковь, витражи с рыцарями-Германтами времен крестовых походов, созерцание герцогини Германтской из плоти и крови, которую он каждый раз встречает в церкви, всецело поглощают его внимание, и район Сен-Жермен он будет изучать и анализировать на протяжении всех своих книг. С первого же тома мы знакомимся также со Сваном, а почти весь второй том занимает история любви Свана к Одетте, молодой даме полусвета. Одетта являет собой тип женщины, живущей исключительно любовью мужчин к ней, и вызывает у Свана величайшую любовь и терзания безумной ревности (одна из тем, которые Пруст подробно изучает и которой посвящает сотни страниц второго тома «Свана», а затем «Альбертины» «Пленница», 1923 г. и «Беглянки»). Благодаря Свану мы проникаем в среду богатой парижской буржуазии, в салон мадам Вердюрен, характерной представительницы этой среды нуворишей и снобов. Детство героя, потрясения и раны, задавшие направление его дальнейшей жизни, его духовной и физической индивидуальности — таковы центральные мотивы этого тома. Говоря о нем, я хотел бы коснуться хотя бы одного ключевого для автора эпизода. Ребенок, затем юноша и зрелый мужчина, обозначаемый Прустом как «я», проводит лето с родителями в маленьком провинциальном городке. Первые жестокие страдания мальчика, запавшие ему в память, — это когда его отправили из-за стола спать, и он ждет в постели с нетерпением и тревогой материнского поцелуя на ночь. Мать не каждый день поднимается к нему в спальню, чтобы пожелать спокойной ночи. Ужин затягивается. Отец мальчика находит эти непременно вечерние визиты чересчур сентиментальными и нежелательными с педагогической точки зрения. Однажды вечером мальчик не выдерживает: не дождавшись матери, он преодолевает свой страх перед отцом и босиком выскакивает из кровати, чтобы (при его-то болезненности и хрупкости) проторчать долгие четверть часа на темной холодной лестнице, ожидая, пока мать поднимется на верхний этаж к спальне. Каков же его испуг, когда он видит, что мать выходит вместе с отцом, держащим фонарь в руке. Мать, опасаясь худшего наказания, делает мальчику знаки, чтобы он убежал, но отец замечает это, и, вместо того, чтобы разразиться гневом, реагирует совершенно противоположным образом, продиктованным непоследовательностью относительного равнодушия взрослых к трагедиям и переживаниям детей. «Посмотри, в каком состоянии мальчик! Иди скорее к нему, — говорит он жене, — ляг сегодня в его комнате» «Но речь идет не о том, чтобы приучать, — сказал отец, пожимая плечами, — ты же видишь, что он огорчен, у него совсем несчастный вид, у этого малыша; не палачи же мы, в самом деле! Вот так славно будет, если ты окажешься причиной его болезни! Так как у него в комнате две кровати, то вели Франсуазе приготовить тебе большую кровать и проведи эту ночь с ним. Ну, покойной ночи; я не такой нервный, как вы, усну и один». — «В сторону Свана», 1913, пер. А. Франковского.

Ребенок, ожидавший самого худшего за свое истерическое неповиновение, получает от отца, напротив, самое желанное, то, о чем он мечтал на протяжении нескольких недель — чтобы мать осталась с ним рядом, в его комнате, и он заснул бы под ее чтение вслух его любимой книги. В неожиданно категоричной форме автор добавляет, что в тот вечер непоследовательность отца стала отправной точкой всех его физических и психических несчастий, что его нервная болезнь, неспособность остановиться в стремлении удовлетворить свои желания и сложные физические явления, виной которым также стали слабые нервы, уходили корнями в тот вечер. Не менее важен для понимания Пруста, биографии героя и самого писателя второй том «В сторону Свана», почти полностью посвященный Свану и анализу его любви к Одетте. Этот персонаж представляет собой своего рода сплав самого Пруста и некоего Хааса<sup>Шарль Хаас (1833-1902). «Он принадлежал к той категории бесполезных бездельников-интеллектуалов, которые были роскошью в тогдашнем обществе и главная заслуга которых состояла в том, чтобы распространять сплетни перед ужином в «Жокее» или у герцогини де Тремуаль. Если отсутствие всякого занятия не было для него принципом, то его ум оправдывал в его глазах все его амбиции». (Бонифас де Кастелян).</sup> Хаас, принадлежавший к поколению родителей Пруста, из богатой буржуазии еврейского происхождения, был в начале 1870-х годов одним из самых элегантных людей Парижа, членом элитного аристократического клуба «Jockey Club», другом принца Уэльского, принца Саган и т.п. Сван, как и Хаас, — утонченный светский интеллигент, очарование которого состоит в его совершенной естественности, в последовательном и мягком эгоизме; ни деньги, ни светские отношения для него

не являются самоцелью, они только прокладывают ему путь к тем сферам, где он чувствует себя наиболее органично и где он может в одночасье лишиться своего положения, положения для буржуа из евреев в 1890-е годы невероятно высокого, когда он встречает тревожную и абсолютную любовь, поглощающую его целиком. Одетта, бывшая кокетка, ее возлюбленные, ее тайная жизнь, их искренняя и страстная любовь — все это лишь краткая прелюдия к миру распада этой любви, где к Свану приходит полное и болезненное понимание степени его страсти к этой женщине только тогда, когда Одетта отдаляется от него. Думаю, во всей мировой литературе нет более подробного, всестороннего и точного анализа этой темы, чем на незабываемых страницах Пруста. Я хотел бы передать вам небольшую деталь и пересказать описание, ставшее уже классикой и лучше всего сохранившееся у меня в памяти. Одетта ведет себя таинственно, и Сван месяцами пускает в ход все свои психологические способности и свое состояние, но так и не может узнать, изменяет ли она ему и с кем. Однако постепенное отдаление становится очевидным. Описывая их отношения того времени, Пруст делает пронзительное замечание. Никогда не знаешь, что сильнее всего заставит страдать покинутого любовника: настоящее предательство и многочисленные измены или один роковой любовник, которому она отдаст предпочтение, или совершенно невинное времяпрепровождение, которое еще вернее подтвердит, что отдаление стало окончательным.

Пруст описывает дни Одетты, проведенные без Свана, хотя всего несколько недель назад она не могла прожить без него и дня. У нее нет любовника, она слоняется совершенно без дела по кафе и ресторанам, все ей наскучило. Но она предпочитает это времяпрепровождение встрече со Сваном, смертельно страдающим от ностальгии, которому время от времени почти удается выследить ее, и он видит знаки-следы ее присутствия в разных неожиданных местах. Его ревность и терзания создают мир ложных догадок, совершенно неверно объясняющих причину перемещений Одетты. Но боль Свана будет еще сильнее, когда он узнает, что Одетта не изменяет ему, но предпочитает скуку и одиночество своему любовнику. Именно любовь Свана вдохновляет Пруста на незабываемые фрагменты в одном из следующих томов. Прошло уже несколько месяцев с того момента, как Одетта оставила Свана. Он больше не видит ее. Она стала лишь не покидающим его болезненным воспоминанием, которое не дает ему ни заниматься, ни интересоваться чем-либо. В один прекрасный день он решает сбросить с себя это оцепенение и отправляется на большой прием к маркизе де Сент-Эвэрт. Как развлек бы его этот прием до связи с Одеттой! Как весь этот высший свет, обожавший его, обвинял его в том, что он предпочел кокетку, ничтожную женщину, их обществу. С какой настойчивостью высший свет продолжает напоминать ему об этом. И все же, думает Пруст, герою удастся забыться на приеме хоть на несколько часов. Описание этого приема — одно из самых характерных, столько в нем разнообразных типажей, ассоциаций, когда Пруст сравнивает лакеев в роскошных ливреях с фигурами Боттичелли, или обрывками разговоров уточняет стиль герцогини Германтской, или говорит об антисемитизме, модном тогда — графиня второго плана удивляется, что Свана принимают в салоне хозяйки, у которой в семье есть епископы. И Сван возвращается в свет как завсегдатай, его встречают с распростертыми объятиями самые блестящие дамы того времени. Но все это до тех пор, пока он не чувствует неожиданный интерес к старому генералу, который пишет книгу об одном французском военачальнике. А причина это интереса в том, что улица, на которой живет Одетта, носит имя этого военачальника. Начинается концерт, и тут оркестр играет сонату Вентейля. Музыкант Вентейль — вымышленный персонаж, прототипом которого отчасти является Камиль Сен-Санс. По поводу сонаты: «Медленным ритмическим темпом она вела его, сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, к какому-то счастью — благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно-нежным, стала увлекать его к каким-то безбрежным неведомым далям. Потом она исчезла. Он страстно пожелал вновь услышать ее в третий раз». — Глава «Любовь Свана» («В сторону Свана»), 1913, пер. А. Франковского.

Ее скрипичный мотив больше всего на свете напоминает Свану о счастливых временах его любви. Он услышал ее впервые в салоне мадам Вердюрен, где проводил все вечера, и нашел в ней несравненное по красоте произведение новой музыки. Все гости салона знали о его восхищении Вентейлем, поэтому специально для него эта мелодия исполнялась бесчисленное количество раз. Он слушал удивительную мелодию, сидя рядом с Одеттой, увлеченный своей любовью к ней, и эти два чувства настолько слились в нем, что сейчас, когда она зазвучала снова в этой безразличной светской толпе, она пробудила в нем такие яркие воспоминания о счастливом прошлом, которое он старался забыть, что в разрыве, физически отзвывавшимся болью в сердце, он снова пережил свое навсегда потерянное счастье. Будучи светским и более чем скрытным человеком, умеющим прятать свои чувства под маской безразличия, тут он не смог сдержать слез. За этим следует подробное и, может быть, одно из искуснейших прустовских описаний: собственно музыки, мелодии, исходящей из волшебного ящичка скрипки и способной вновь разбередить до глубины едва затянувшуюся рану Свана. Соната умолкает; соседка Свана, некая графиня, восклицает: «Я не слышала ничего более утонченного. Эта соната — мое самое большое потрясение». Но, увлекшись своим красноречием, добавляет вполголоса: «Не считая вращающихся столов» «Восхищенная виртуозностью исполнителей, графиня воскликнула, обращаясь к Свану: "Это изумительно! Я никогда не видела ничего более потрясающего..." Но желание быть безукоризненно точной заставило ее исправить свое первое утверждение, и она сделала оговорку: "...ничего более потрясающего..."



кроме вращающихся столиков!"». — «В сторону Свана», 1913, пер. А. Франковского.

В последующих томах мы видим развитие и чрезвычайное усложнение мотивов, затронутых в начале. Я ограничусь тем, что передам вам лишь несколько сцен, несколько психологических проблем, описанных и развернутых у Пруста, сильнее всего запечатлевшихся у меня в памяти. Я вовсе не собираюсь утверждать, что именно они представляют наибольшую ценность. Это всего лишь субъективная иерархия, основанная на личных предпочтениях. Я не помню такого, чтобы, перечитывая Пруста — а я делал это не раз — не нашел бы у него новых акцентов и точек зрения. Я уже говорил вам о бабушке. Смерть этой женщины, так сильно любимой героем и хранимой в памяти до конца его дней, ассоциируется у Пруста с тем, что он называет «перебои сердца»<sup>Название одной из глав «Содома и Гоморры», 1921–1922.</sup> Это выражение стало классическим, его знают даже те, кто не осилил всего «В поисках утраченного времени». Бабушка умирает от почечной недостаточности. Разве что некоторые страницы Толстого я мог бы сравнить с этой сценой смерти героини, прообразом которой, несомненно, стала мать писателя, с этим медленным анализом сознания обожаемого существа на пороге смерти, реакциями родных: молчаливой и раздирающей болью матери героя; верной Франсуазы, чье простое и даже грубое отношение к смерти задевает больную в минуты последних проблесков сознания, когда служанка берется насильно причесывать ее и подносит к ее искаженному лицу зеркало, пугая; с описанием известного парижского доктора, в черном костюме с орденом Почетного легиона, всегда приглашаемого в самых безнадежных случаях и прекрасно умеющего играть роль первого гробовщика; наконец, с герцогом Германтским, понимающим, какое одолжение он делает, придя в буржуазную семью, и приносящим свои соболезнования матери героя так угодливо и преувеличенно вежливо, что она, поглощенная своим горем, даже не замечает герцогских любезностей и бросает его одного в прихожей с посреди недоговоренной тирады. В таких сценах проявляется «монструозность» великого писателя: способность четко и бесстрастно анализировать, замечать одновременно все трагические и комические детали даже в самые драматические минуты жизни. Я представляю себе самого Пруста у изголовья умирающей матери, убитого горем и в то же время замечающего все детали, все слезы, все недостатки и комические подробности вокруг. Я уже упоминал о том, какую большую роль у Пруста играет психологический анализ района Сен-Жермен. Неслучайно Пруст восхищался, читал и перечитывал и даже знал наизусть фрагменты из герцога де Сен-Симона<sup>Выше также имеется в виду Луи де Руваа, герцог де Сен-Симон (1675–1755), мемуарист и хроникер версальского двора времен Людовика XIV и Регентства, а не философ и социолог Анри Сен-Симон (1760–1825).</sup> — Примеч.

пер. и Бальзака. Герцог де Сен-Симон в своих воспоминаниях об эпохе Людовика XIV в подробностях описывает дела и поступки, интриги и соперничество тогдашних жителей Сен-Жермена. Принадлежащий к аристократической элите Сен-Симон знает, о чем пишет, и делает это с большой проницательностью, подмечая и фиксируя, как это свойственно большому писателю, нюансы и нелепости своего окружения. Положение Бальзака было иным. Его тянуло в Сен-Жермен, он был связан с женщинами этой среды, влюблен. Мечтал играть там роль знатного господина, миллионера, знаменитого писателя и сердцееда одновременно. Поглощенный работой, весь в долгах, с массой фантастических финансовых проектов в голове, которые регулярно оканчивались катастрофой, вечно скрывающийся от кредиторов Бальзак едва ли имел возможность понаблюдать за великосветским миром, пожить в нем. В короткие периоды передышки, когда в качестве гонорара за книгу или еще каким-то образом он получал внушительную сумму денег, он спешил по-мальчишески потратить их на изысканные костюмы, которые не всегда сходились на его большом животе вечного домоседа. Он покупал трости с набалдашниками из золота или слоновой кости, а Жорж Санд описывает один визит в новой квартире рядом с Обсерваторией, где Бальзак встречается ее в окружении канделябров и кружевных занавесок, что было, судя по всему, знаком сомнительного вкуса по меркам сен-жерменского общества. В том, как Бальзак рисует аристократию, есть множество точных и верных черт, но в то же время я нигде не нахожу такой напыщенности, такой наивной идеализации, такого изображения ангельских или, наоборот, inferнальных женских персонажей, словно сошедших с романтических полотен, например, Шеффера<sup>Ари Шеффер (1795–1858) — французский художник и график голландского происхождения, автор исторических и вдохновленных академическим романтизмом полотен.</sup>, вместо реальных женщин из плоти и крови. Пруст, как и Бальзак, пришел в светский мир извне. Но насколько точнее он его анализировал, с какой несравненно большей отстраненностью оценивал! Это близкое знакомство с миром аристократии снова напоминает мне Толстого, который описывает высший свет в «Войне и мире», «Анне Карениной» и во множестве других произведений ясно и гораздо более реалистично, нежели сам Пруст. Пруст сосредотачивается на аристократии круга Германтов и брата герцога Германтского, барона Шарлю, начиная с принцессы Матильды, единственного исторического персонажа, фигурирующего под реальным именем, и заканчивая родителями и друзьями второго и третьего порядка, вращающимися вокруг солнца Германтов и демонстрирующими все оттенки снобизма, карьеризма и глупости. Снобизм анализируется у Пруста подробнее других характерных черт светского общества. Помимо парижских высших сфер Пруст рисует нам деревенскую аристократию, более простую и симпатичную, более близкую к реальной жизни, как, например, семейство Камбремер. Старая баронесса — женщина простая, естественная, искренне любящая музыку и гордящаяся тем, что в юности была ученицей Шопена. Ее невестка, приехавшая из Парижа, — типичная носительница артистического снобизма. Не обладая никакими личными способностями к творчеству или художественному

восприятию, которые связывали бы ее с искусством, она знает наизусть все общие места последней парижской моды. А Шопен сейчас не в моде. Поэтому робкая свекровь не решается даже говорить о нем. Она почти стыдится признаться, как она его любит, считая себя провинциалкой и ретроградкой, неспособной высказывать категорических и безапелляционных утверждений в духе своей невестки, парижской «интеллектуалки». И как трогает эта пожилая дама, когда молодой герой романа, приехавший с визитом к Камбремерам, человек, истинно любящий музыку, ловко и шутя разбивает категорические заявления невестки. С какой радостью и одновременно некоторой робостью решается она признаться ему в своей любви к Шопену. В этой сцене мы видим, как герой умеет отличать настоящее от напускного в отношении этих двух женщин к искусству. То же самое с живописью. Он забавляется тем, что ставит зазнайку в неловкие ситуации, потому что молодая дама уверена, что он знает гораздо больше нее и что молодые люди, как он, имеют доступ к самому источнику художественной моды. Умница заявляет о несуществовании Пуссена, что отражает новейшие натуралистические и антиклассицистские взгляды. Герой отвечает на это, что Дега (несомненный авторитет) утверждает, что Пуссен — один из величайших мастеров французской живописи. «Я пойду в Лувр, как только буду в Париже, мне нужно снова посмотреть на картины и обдумать эту проблему», — отвечает та в растерянности<sup>«Но ведь, — начал я, сознавая, что единственный способ реабилитировать Пуссена в глазах маркизы де Говожо — это довести до ее сведения, что он опять в моде, — Дега утверждает, что, по его мнению, нет ничего прекраснее картин Пуссена в Шантильи»</sup>. — «А что это такое? Я не знаю его шантильйских работ, — сказала маркиза де Говожо, — я могу судить только о луврских, и они ужасны». — «А Дега в полном восторге и от них». — «Надо еще раз посмотреть. Я их подзабыла». — «Содом и Гоморра», 1921-1922, пер. Н. Любимова. Пруст деликатно дает нам понять, что эта женщина ничего не смыслит в искусстве, о котором говорит без умолку, что искусство для нее — лишь способ выглядеть интересной перед людьми еще более глупыми, чем она сама, и приобрести право смотреть с презрением на тех, кому искусство действительно не чуждо, но кто не разделяет ее передовых взглядов. Пруста, изображавшего снобизм во всех его формах и вариациях, самого при жизни и даже на основе его произведения называли совершенным снобом. Школьные приятели отвернулись от него в уверенности, что снобизм помрачил рассудок их друга. И даже спустя годы Мися Гodeбская-Серт<sup>Мися (Мария) Гodeбская-Серт (1872–1950)</sup> — полька, пианистка, кумир всего Парижа, вдохновлявшая Пруста и Кокто. Она помогла молодому Юзефу Чапскому и его друзьям-капистам (К.П. — Комитет парижской помощи студентам-художникам, уезжающим на учебу во Францию — примеч. пер.) выставиться в Париже в 20-х годах. блестящая женщина, подруга всех художников, от Тулуз-Лотрека до Пикассо и сюрреалистов, однажды за обедом в Мёрисе или Ритце в 1914 или 1915 году спросила Пруста, не сноб ли он, и на следующий день с удивлением получила огромное письмо (конечно же, потерянное ею впоследствии), где Пруст на 8 страницах, исписанных плотным почерком, объяснял, насколько поверхностным был ее вопрос. Сколько бы мы отдали сейчас, чтобы иметь возможность прочесть это письмо, брошенное когда-то в корзину для бумаг! Позиция Пруста в жизни и в его произведении настолько многогранна, что называть ее снобизмом — ребячество. Сначала — влечение писателя к герцогине Германтской на фоне средневековых витражей церкви в Камбре<sup>Комбре</sup>, затем любовь к той же герцогине, ослепительное сияние мира, который он для себя открывает, и наконец — самые горькие наблюдения, понимание и осознание всех их недостатков, мелочности, холодности, бессилия и глупости — все это есть в книгах Пруста. С какой тонкостью он улавливает, угадывает способности молодого племянника Германтов, военного, влюбленного в музыку и литературу, благородного в своем характере и во всех своих порывах юноши, который героически погибает на войне во время атаки. И в то же время с каким чувством юмора показывает он нам невежество и глупость светских аристократов всех мастей, добавляя разочарованно в одном из томов: «Он был бы очарователен, если бы не был так глуп». Впрочем, взгляд Пруста-писателя на высший свет столь же отстранен, я бы сказал, научно-объективен, как и на кухарку Франсуазу, на клан докторов или на собственную бабушку. Кухню Комбре, где царила Франсуаза, он сравнивает с двором Людовика XIV, короля-солнца, и с интригами при нем; говоря об аристократии, он обнаруживает сходства-наоборот. Пруст описывает встречу своего героя во дворе дома с хозяином, герцогом Германтским, который во время разговора не может удержаться, чтобы не смахнуть с бархатного воротника пальто собеседника приставших ворсинок несколькими чрезвычайно легкими и подобострастно вежливыми движениями руки. «Только у лакеев из богатых домов и представителей аристократической знати, — утверждает Пруст, — встречаются такие рефлексy по этому поводу»<sup>«Однажды герцогу Германтскому понадобилась справка из той области, которая входила в компетенцию моего отца, и герцог представился ему с отменной учтивостью. После этого он часто просил отца сделать ему то или иное одолжение, и когда отец спускался с лестницы, думая о делах и стараясь избежать встреч, герцог бросал своих конюхов, подходил во дворе к моему отцу, с услужливостью, унаследованной от прежних королевских камердинеров, поправлял ему воротник пальто, брал его, взбешенного, не знавшего, как вырваться, за руку и, держа в своей, даже глядя ее, чтобы с бесцеремонностью царедворца показать, что его драгоценная плоть не брезгует такого рода прикосновениями, провожал до самых ворот»</sup>. — «У Германтов», 1920–1921, пер. Н. Любимова, А. Франковского. Пруст не относит своей теории сходств исключительно на счет знатного происхождения аристократов и роли, которую они играли в Версале. Нужно отметить еще одну важную тему «В поисках». Это тема физической любви, самые потаенные и сумрачные

стороны которой Пруст исследует. Все аномалии и перверсии рассматриваются им с аналитической дистанции, без приукрашивания или очернения. Его великий предшественник, Бальзак, уже осмеливался коснуться этих вопросов, впрочем, гораздо более сдержанно, в «Вотрене» и «Девушке с золотыми глазами». За двадцать лет послевоенной литературы мы настолько привыкли, что нас порой даже утомляют и раздражают книги, повествующие о темах из области сексуальности в цинической или эксгибиционистской манере (Пруст — сама стеснительность, если сравнивать его с некоторыми фрагментами Селина). Поэтому нам сложно понять, насколько определенные страницы «В сторону Свана», затрагивающие лесбийскую любовь дочери Вентейля и увидевшие свет еще до 1914 года, или история великосветского барона де Шарлю, положение которого рушится из-за скандала а-ля Уайльд и которого мы видим в парижских притонах впадшим в крайние мазохистские отклонения, — насколько эти страницы, продуманные и составленные частично еще до войны 1914 года, были актом смелости. Пруст освещает своим аналитическим фонарем самые мрачные закоулки человеческой души, которые большинство людей предпочитают игнорировать. В этой сфере, как и в исследовании аристократии, или сыновней любви, или тайных механизмов художественного творчества мы узнаем Пруста с его восхитительной ясностью и аналитически тщательным и скрупулезным подходом, невиданным ранее.

Я хотел бы сделать несколько выводов еще более показательных, чем остальные. В своей выдающейся форме Пруст преподносит нам мир идей, цельное мировоззрение, которое, пробуждая в читателе все его умственные и чувственные способности, требует от него пересмотра заново всей его системы ценностей. Уточню: как я уже отмечал, это не та или иная тенденция, прослеживающаяся в его творчестве. Ничто не чуждо Прусту более, нежели тенденциозность. Он часто сам повторяет, что передать существо писателя можно только посредством формы, доведенной до границ ее глубины. В последнем томе «Обретенного времени» Пруст мимоходом полемизирует с Барресом. Баррес был тогда предводителем круга молодых французских писателей-националистов и сам был большим писателем. В романах «Беспочвенные» и «Вдохновенный холм» Баррес подчеркивал национальный аспект литературы. Будучи лотарингцем по происхождению, он видел настоящее вдохновение только в земле, почве, в чистой французской традиции. (Именно против Барреса направлены критические заметки Андре Жида о беспочвенности, в которых он, наоборот, подчеркивает положительные результаты контактов с внешним миром). Баррес утверждал, что писатель никогда не должен забывать, что он писатель национальный, и обязан углублять национальную сторону своего творчества. Пруст походя отвечает ему на это фразой, которую я, увы, могу воспроизвести лишь неточно и в общих чертах, что неизбежно делает ее банальной. Баррес утверждает, что писатель более, чем о писательстве, должен помнить о своей роли и миссии как француза. Когда ученый, который стоит на пороге открытия и может сделать его, только приложив к исследованию все свои способности, он не в состоянии думать ни о чем другом. Так же и писатель: мерилom его отношения к своей стране являются не те или иные идеи, которые он высказывает, но достигнутая им степень развития формы. Даже у величайших мастеров бывает, что тенденциозная идея ослабляет воздействие произведения не только с художественной точки зрения, но и в отношении самой идеи, которой писатель пожелал служить. На нашем литературном пространстве есть тому примеры разительные и трагически поучительные: это Жеромский<sup>1</sup> Стефан Жеромский (1864–1925) — выдающийся польский писатель, высоко ценимый за свой натуралистический и лирический стиль, произведения которого отмечены пессимизмом из-за последовательных поражений польских восстаний. Автор романов «Пепел» и «Канун весны». и Конрад-Коженёвский<sup>2</sup> Теодор Юзеф Конрад Наленч-Коженёвский (1857–1924), более известный под псевдонимом Джозеф Конрад, английский романист польского происхождения, автор романов и рассказов, связанных со страстью к путешествиям, в частности, «Лорд Джим» и «Теневая полоса», написанных по-английски. У Пруста мы никогда не найдем ни малейшей склонности к морализму, ни малейшего проявления тенденциозности. И тем не менее его произведение зарождает во внимательном читателе целый мир идей и вопросов. Конрад, сын ссыльного польского революционера, родившийся в глубине России, человек, на протяжении всей своей жизни верный культу таких простых чувств, как верность и честь, вынужден был покинуть свою страну и свой язык, стать иностранным писателем в чужом мире, чтобы найти наконец ту атмосферу, в которой он смог создавать литературу без непосредственной тенденциозности, писать без дидактики. Жеромский больше всех сделал для того, чтобы Конрад стал известен в Польше, снова стал польским писателем. Но именно Жеромскому пришлось спорить с ним, как и Ожешко<sup>3</sup> Элиза Ожешко (1841–1910) — польская писательница-позитивистка, поднимавшая такие социальные вопросы как эмансипация женщин, права евреев, сотрудничество простого народа и аристократии. Среди ее произведений — «Над Неманом» и «Меир Езофович», которая относилa Конрада к лагерю предателей, потому что тот покинул Польшу в тот момент, когда она более всего нуждалась в своих сыновьях. Жеромский, который кажется мне талантом не меньшим, чем Конрад, хотя и очень неровным, не покинул своей страны, любимой им больше всего на свете и больше искусства. Его произведения всегда были написаны с идеей, которую он хотел немедленно воплотить в жизнь на пользу своей стране, и к нему действительно можно отнести выражение Красинского<sup>4</sup> Зигмунт Красинский (1812–1859), выдающийся польский поэт-романтик, автор романов и драм исторического и философского содержания, из которых наиболее известны «Небожественная комедия» и «Иридион», сказанное им после смерти Мицкевича<sup>5</sup> Адам Мицкевич (1798–1855) — известнейший польский поэт и патриот Польши, автор романтических, эпических,

лирических и драматических поэм, главные из которых — «Конрад Валленрод», «Гражина», «Дядя» и «Пан Тадеуш»: «Он был кровью, молоком и медом нашего поколения». Но Жеромский был слишком большим художником, чтобы не понимать, что он нередко приносит в жертву совершенство своих романов ради целей хотя и благородных, но утилитарных. В своем эссе, опубликованном уже в свободной Польше, он сам признается с трогательным самоуничтожением: «Мне так хотелось пробудить в моих согражданах сознание, подтолкнуть их к великодушию и героизму, что я повредил тенденциозностью и без того ничтожной художественной ценности моих произведений». Именно Жеромский прилагает все усилия для популяризации Конрада и пишет предисловие к его первому изданию в переводе на польский — «Негру с «Нарцисса»». Он распознал в Конраде не предателя, а собрата, которому в свободном мире удалось воплотить то, чем самому Жеромскому пришлось пожертвовать и что в свободной Польше было самой необходимой пищей для молодых поколений. Вне поля польской литературы мы можем наблюдать губительное воздействие тенденции на писателя на примере, возможно, величайшего романиста нашей эпохи. В «Войне и мире» и «Анне Карениной» дидактика практически отсутствует. Толстой переделывает «Анну Каренину», пишет целую новую часть только для того, чтобы скрыть от читателя свое собственное мнение. Но в «Воскресении», его самом позднем большом романе, мы часто сталкиваемся со слишком явной дидактикой, автор так часто повторяет некоторые основные идеи, что на кого-то из читателей это может произвести и вовсе противоположное впечатление, и даже Толстой, снижая художественное качество произведения, вместо того, чтобы усилить, ослабляет действие своих идей. Пруст — наоборот. Мы не найдем у него совершенно никакой предвзятости, но желание познать и понять самые разнородные и противоречивые состояния души, способность заметить в самом низком человеке благородные, почти возвышенные жесты и, напротив, низменные инстинкты в самом чистом существе, поэтому его произведение действует на нас, как жизнь, профильтрованная и освещенная сознанием бесконечно более ясным и четким, чем наше собственное. Многие читатели Пруста будут удивлены, если я скажу, что идеологические выводы «В поисках», которые я лично вижу, — почти что в духе Паскаля. И я помню, с каким удивлением прочел статью Боя о Прусте, в которой Бой говорит о «прелестном» Шарлю и, судя по тону статьи, считает главными сторонами произведения юмор и радость жизни. Я едва ли успел что-то сказать о Паскале, но его совершенно анти-чувственный подход хорошо известен. Этот человек, снедаемый жаждой абсолюта, считал недопустимой всякую эфемерную радость без смысла. Гениальный физик, обласканный самым изысканным обществом Франции, наделенный врожденным тщеславием и честолубием, Паскаль после одной ночи, которая навсегда останется его тайной, ночи постижения абсолютного сверхъестественного мира, будет до самой смерти носить на шее кусочек пергамента с несколькими словами: «Слезы, слезы радости». Паскаль порывает со всеми и вся и с присущей ему страстностью ударяется в экстремальный аскетизм, заточает себя в Пор-Рояле, изнуряет, мучает свое бедное больное тело. Пищу, которую ему приносят, он проглатывает так, чтобы не почувствовать вкуса, носит на себе железную цепь, более того — отказывается даже от своих самых высоких страстей — от математики, физики, даже от литературы, лишь время от времени записывая несколько мыслей, идей, которые, собранные после его смерти, станут одной из самых лаконичных, глубоких и пламенных книг в мировой литературе. Паскаль порицает не только разнузданные или безнравственные чувства, а все чувства без исключения. Именно ему принадлежит ужасающая фраза: «Брак — самое низкое для христианства состояние». Может показаться парадоксальным, что я связываю паскалевские мысли с «В поисках...», книгами, целиком посвященными изучению чувств, содержащими тысячи страниц, написанных человеком, обожавшим чувственные радости земли, умевшим наслаждаться всем страстно, изощренно и одновременно сознательно до границ возможного. Мне известен ответ на маленькое неизданное письмо, написанный Прустом его школьному другу Даниэлю Алеви, видимо, ответ на морализаторские советы и ремарки последнего о том, что ему, Прусту, в жизни нужно лишь одно — насладиться утехами любви (физической). Вспомним, что центр Франции стал его первой литературной средой, что религия гедонизма великого французского писателя, несомненно, повлияла на формирование мира идей Пруста; что неоднократно отмечалось, что все творчество Пруста напрочь лишено всяких поисков абсолюта, что слово «Бог» упоминается у него всего лишь один раз на тысячи и тысячи страниц. И несмотря на это и даже, может быть, именно по этой причине прустовский апофеоз проходящих радостей жизни оставляет привкус паскалевского пепла. Герой «В поисках» отрекается ото всего не во имя Бога, не во имя веры, но он так же поражен внезапным откровением; он так же заключает себя, ни живого, ни мертвого, в пробковой комнате (я намеренно не различаю героя и самого Пруста, потому что в этом смысле они — одно), чтобы до самой своей смерти служить тому, что для него было абсолютom — своему художественному произведению. Два последних тома («Обретенное время») так же орошены слезами радости, это тоже ликующий гимн человека, который отдал все свои богатства в обмен на одну-единственную драгоценную жемчужину и который знает, какова цена всего скоропроходящего, всех удовольствий и тщетных радостей мира, молодости, известности, эротической любви по сравнению с радостью творца, этого существа, строящего фразу за фразой, komponующего страницу за страницей в поисках абсолюта, которого он никогда не достигнет в полной мере и который недостижим по определению.

*Тщетность светских отношений.* Сван, идеал светского человека, серьезно заболевает и получает от врачей смертный приговор: ему остается жить не более двух-трех месяцев. Дело происходит во дворе у Германтов, в тот момент, когда герцог и герцогиня торопятся на большой прием. Сван сообщает эту новость герцогине, своему

лучшему другу, королеве тогдашнего Парижа. У супругов есть выбор — они могут выслушать смертный приговор их друга, но тогда рискуют задержать светский ужин. Чтобы не опоздать, они превращают дело в шутку, заявляя, что бедный Сван с лицом, как у трупа, выглядит прекрасно, и с этим оставляют его одного стоять на пороге своих роскошных владений. Мгновение спустя герцог замечает, что герцогиня надела не те туфли, что он ожидал на ней увидеть, что больше шли к ее красному бархатному платью и колье из рубинов. Свану не удалось задержать их даже на пару минут. Но неподходящим туфлям это удастся. Отъезд задерживается на четверть часа.

*Тицетность аристократической гордости.* В «Обретенном времени» Пруст описывает торжественный прием у тех же Германтов. Но место родовитой принцессы, самого чистого существа в этой семье, известного своим исключительным изяществом и чувством стиля, занимает после ее смерти герцогиня Германтская номер два, из богатых буржуа, воплощение ханжества и снобизма, вульгарности и комичности, и все послевоенные гости, включая богатых американцев из-за моря, принимают и восхищаются ею, не подозревая, что знаменитая герцогиня Германтская и эта женщина не имеют между собой ничего общего, кроме имени и положения.

*Тицетность молодости и красоты.* «Времени невосполнимая утрата» «Годов невосполнимая утрата», Жан Расин (из Плавта), «Аталия», II, 5. — Одетта, очаровательная куртизанка, страсть Свана и многих других, а затем графа де Форшевиля, воплощающая на всем протяжении прустовского произведения женскую соблазнительность, в последнем томе изображена им почти выжившей из ума старухой, сжавшейся где-то в уголке салона своей дочери. Всю жизнь ее окружали блеск и почести, а теперь ее едва замечают. Каждый гость подходит к ней с глубоким поклоном, здороваясь, но затем сразу же начисто забывает о ней и даже позволяет себе громко говорить о ней с ехидством или насмешкой. А Пруст, который, как я не устаю повторять, всегда сохраняет свой жестоко-объективный взгляд, добавляет здесь неожиданно трогательно личное замечание: «И эта женщина, которую обожали, перед которой преклонялись всю ее жизнь, сейчас — руина, глядящая испуганным и смятенным взглядом на этот беспощадный мир во фраках и роскошных платьях, впервые кажется мне... симпатичной» Юзеф Чапский вспоминает длинный пассаж из «Беглянки» (1925), который заканчивается так: «Мое новое «я», когда оно росло под тенью прошлого «я», часто слышало, как это прошлое «я» говорит об Альбертине, и ему представлялось, что сквозь него, сквозь рассказы, которые то «я» подбирало, проступают черты Альбертины, и она была ему симпатична, оно ее любило, но то была любовь опосредствованная». — пер. Н. Любимова.

*Тицеславие, пустота и слава.* Великая актриса Берма, прототипом которой стала Сара Бернар, побудила Пруста написать уникальные страницы. Знаменитая актриса стара и больна; она может выходить на сцену только под воздействием наркотиков, после чего проводит мучительные бессонные ночи в своем особняке на одной из парижских набережных. Лишь к утру ей удастся уснуть на несколько часов. Но ее любимая дочь, ради которой она только и терпит все эти пытки, хочет иметь такой же особняк, как у матери, по соседству с ней, поэтому с раннего утра там не прекращается стук молотков, и спать Берма не может. Тем временем актриса третьего ряда, но гораздо моложе нее занимает ее место. При помощи интриг, контактов и подлостей она завоевывает менее требовательную послевоенную публику. Приемным днем для светского общества она выбирает тот же самый день, когда принимает у себя старая Берма. Она собирается декламировать свои псевдо-модернистские стихи на вечере, где собирается вся парижская богема. А старая гениальная актриса остается в своем салоне одна, не считая одного молодого человека, который не уследил за модой, своей дочери и зятя, злящегося, что его заставили провести этот вечер в компании старой матери вместо блестящего и многолюдного салона принцессы Германтской.

Пруст описывает тонкие контуры ее напудренного лица, ее всегда живые глаза, «словно змеи в мраморе Эрехтейона» «В тот день, когда я в первый раз увидел его у родителей Жильберты, я рассказал Берготу, что недавно видел Берма в «Федре»; он сказал мне, что в той сцене, где она застывает, подняв руку до уровня плеча, — одной из сцен, в которых ей так аплодировали, — ей удалось воскресить благородные формы великих произведений искусства, быть может, никогда ею не виданных: Геспериду с метопы в Олимпии, делающую тот же жест, и прекрасных дев древнего Эрехтейона». — «Под сенью девушек в цвету», 1919 (Гонкуровская премия), пер. А. Франковского, Н. Любимова, Е. Баевской, А. Фёдорова. Но решающий удар готовит ей любимая дочь. Она покидает салон матери, и вместе с мужем они без приглашения спешат на большой прием, а чтобы иметь честь наблюдать за триумфом злейшего врага ее матери, она, словно загнанный зверь, позволяет представить себя на приеме посреднице этой актрисы, которая счастлива уколоть и ранить Берму, презрительно протезируя ее дочери.

*Тицетность любви.* Приключения, страсти и беспутства любви — что дают они тому, кто полностью им отдался? Мы видим барона де Шарлю, стареющего, отвергнутого обществом, в публичном доме предающегося жутким мазохистским практикам, привязанного к ним, как Прометей к скале. А затем мы видим его же, впавшего в детство, в маленькой машине, слепого, переставшего ходить, его ведет жилетник Жюппен, подозрительный друг его юности и владелец публичного дома, единственный, кто остался рядом со стариком и окружает его почти материнской заботой. Самая большая любовь героя «В поисках утраченного времени» — Альбертина. Тома «Под сенью девушек в цвету» полны описаний изящных прелестей совсем еще молодой Альбертины и ее спортивных

друзей. В «Содоме и Гоморре» и «Альбертине» «Пленнице», 1923. нас окружает мир любви, ревности, нежности, вызываемой молодой девушкой. «Беглянка» — это крик отчаяния, ожесточенное преследование девушки, ревнивое и болезненное расследование ее прошлого. А когда спустя почти год во время поездки в Венецию герой узнает о внезапной смерти своей любимой, то едва обращает внимание на это известие, потому что другая женщина тронула его сердце на какой-то краткий промежуток времени. А с каким высоким отчуждением, которое, впрочем, не имеет ничего общего с гневом Паскаля, направленным против плоти, говорит о любви сам автор, столько страдавший, в конце своих многочисленных томов. Он говорит о ней, скорее, с точки зрения утилитарной, советуя предпочесть телесную любовь как лучшее средство от опустошающих светских радостей, от страсти к светскому общению, которое привносит самый большой беспорядок в жизнь художника. Пруст все сильнее настаивает: художник одинок, и он должен быть один. Даже ученики, даже последователи ослабляют художника, а поскольку его взгляд на любовь был абсолютно пессимистичен, поскольку он видел в ней лишь причину «Милой раны и растущего сознания одиночества», в этой области чувств он, по-видимому, именно телесной радости решает в какой-то степени уступить. И в тот момент, когда он решает похоронить себя в своем произведении, покинув мир и все его мимолетные радости, он говорит себе, что, возможно, все же будет позволять себе время от времени свидания с очаровательными юными девушками, чтобы не походить на античную лошадь, которую кормили одними розами.

Если мы хотим угадать, каковы были последние мысли Пруста о жизни и смерти, такие, какие рождаются у человека, обремененного долгим опытом, когда он сам приближается к смерти, то ключ мы можем найти в Берготе, персонаже второго плана. Бергот в «Поисках...» — большой писатель, мастер французского слова, воплощение литературы в глазах юного героя. Материал, который использует Пруст при создании этого героя, связан с изучением Анатоля Франса и наблюдением за ним, поскольку у Бергота немало похожих черт, но также и с личным опытом самого Пруста, Пруста позднего периода. С Берготом мы знакомимся уже в книге «В сторону Свана». Герой открывает в нем для себя любимого писателя и мечтает с ним познакомиться. Мне кажется, впервые это происходит в томе «У Германтов»<sup>1</sup> Рассказчик «В поисках» слышит имя Бергота в томе «В сторону Свана», а встречает его впервые в «Под сенью девушек в цвету», 1919.

В салоне Одетты, тогда уже мадам Сван. Герой узнает его в старом друге Свана, он разговаривает с ним чрезвычайно учтиво и, заканчивая визит, уводит его в свою машину. Встреча поначалу разочаровывает Пруста, что, впрочем, вполне понятно. Этот человек из плоти и крови имеет мало общего с мастером, с которым юноша так долго мечтал познакомиться. Его поражает, что Бергот в машине начинает с изяществом, отстраненностью и легкостью говорить про Свана, своего близкого друга, гадости молодому человеку, которого он видит впервые в жизни. Это становится для Пруста поводом с присущей ему ясностью и четкостью ума проанализировать слабость, низость и лживость, так часто свойственные художникам. В последующих книгах мы видим Бергота постаревшим, на пике славы, его творческие силы иссякают. Сейчас, когда он пишет все меньше и хуже, с несравнимо большим усилием, а ощущение радости и внутренней необходимости куда как ослабело, он любит повторять одну фразу: «Я думаю, что, написав эти книги, я был полезен моей отчизне»<sup>2</sup> «Несмотря ни на что, я вполне уверен, что это было бесполезно для моей страны». — Там же, фразу, которой он никогда не говорил, создавая свои шедевры. Во всех этих деталях и психологических ремарках чувствуется, прежде всего, не сам Пруст, но Анатолий Франс (и, может быть, еще Баррес) как прототип персонажа. Но в «Альбертине» и «Беглянке» мы вплотную приближаемся к физическим и духовным состояниям самого Пруста, читая о последней болезни и смерти Бергота. Эти страницы находятся в последнем томе, который Пруст редактировал перед своей смертью, а мы знаем, что гранки Пруст часто исправлял очень сильно. Он добавлял, переписывал или вычеркивал десятки и даже сотни страниц. Впрочем, этим же недостатком страдал и Бальзак. Пруст в деталях описывает все надежды и разочарования, сопряженные с отношениями больного с доктором. Он перечисляет здесь все виды сна, все наркотические вещества и снотворные, которыми пичкает себя Бергот на пороге смерти, измотанный бессонницей. Некоторые черты последнего этапа болезни Бергота были дописаны Прустом всего за несколько дней до его собственной смерти. Смерть настигает Бергота на выставке великого голландца Вермеера, его и Свана любимого художника. Случайно мне довелось узнать о том, что за несколько лет до смерти Пруста, уже после войны, его друг, писатель Жан-Луи Водуа<sup>3</sup> Жан-Луи Водуайе (1883–1963) — французский романист, поэт, эссеист и историк искусства, повел его на выставку голландцев, и там у Пруста случился серьезный сердечный приступ. В «Альбертине» Бергот решает еще раз перед смертью взглянуть на полотна Вермеера, хотя и знает, что в его состоянии поход на выставку — дело крайне рискованное. Едва войдя в зал, он полностью погружается в волшебное очарование, китайскую утонченность и точность, нежную музыку этих картин. Счастливый от восторга, он останавливается перед пейзажем, изображающим домики на пляже на берегу моря. Он видит крошечные голубые фигурки на желтом песке, небольшой фрагмент желтой стены, на который падают золотые солнечные лучи. И здесь он сдает свой последний экзамен как писатель. «Кусочек желтой стены, кусочек желтой стены, тихо повторяет Бергот, вот как мне надо было писать мои книги, снова и снова возвращаясь к написанному, переделывать, обогащать, наслаивать, как на этом кусочке стены. Я писал слишком сухо, обрабатывал недостаточно тщательно»<sup>4</sup> «Вот как мне надо было писать, — сказал он. — Мои последние книги слишком сухи, на них нужно наложить несколько слоев краски, как на этой желтой стенке». — «Пленница», 1923, пер. Н. Любимова, А.

Франковского, С. Толстого. И тем же тихим голосом Бергот-Пруст произносит фразу, которая поражает нас тем сильнее, что слышим мы ее от ученика Анатоля Франса: «Какой смысл в этой упорной работе над едва уловимыми деталями, работе почти что неизвестного художника, к чему это неустанное совершенствование, которого, возможно никто не заметит, не поймет, не увидит в полной мере? Как если бы мы жили по законам справедливости, абсолютной истины и идеального мастерства, созданным в другом мире гармонии и правды, лучи которого проникают на землю и направляют нас» «Единственно, что тут можно сказать, это что все протекает в нашей жизни, как будто мы в нее вошли с грузом обязательств, принятых нами на себя в предыдущей жизни; в условиях нашего существования на земле нам нет никакого смысла считать себя обязанными делать добро, быть деликатными, даже вежливыми, нет никакого смысла неверующему художнику считать себя обязанным двадцать раз переделывать часть картины, восхищение которой будет довольно-таки безразлично его телу, съеденному червями, так же как часть желтой стены, которую он писал во всеоружии техники и с точностью неведомого художника, известного под именем Вермеера. Скорее можно предположить, что все эти обязательства, которые не были санкционированы в жизни настоящей, действительны в другом мире, основанном на доброте, на совести, на самопожертвовании, в мире, совершенно не похожем на этот, мире, который мы покидаем, чтобы родиться на земле, а затем, быть может, вернуться и снова начать жить под властью неизвестных законов, которым мы подчиняемся, потому что на нас начертан их знак неизвестно кто, законов, сближающих нас своей глубокой интеллектуальностью и невидимых только — все еще! — дуракам». — Там же. Для не столь внимательного читателя, не осознающего степени ответственности Пруста за каждое предложение, эта фраза может остаться незамеченной или показаться несущественной. Но мы знаем, что эти страницы редактировались перед самой смертью Пруста, что они — брильянт редкой огранки среди тысяч страниц этого ученика автора «Восстания ангелов» Поучительная сказка Анатоля Франса (1914). Здесь нам неожиданно приходит на ум другая ассоциация, другой великий писатель, писатель, с самого начала и до конца своего творчества одержимый одним вопросом — вопросом Бога и бессмертия. «Многое в жизни скрыто от нас», — говорит Достоевский устами Зосимы в «Братьях Карамазовых». «Но взамен нам даны глубокое внутреннее чувство и живая связь с другим, высшим миром, и даже корни наших мыслей и чувств — не здесь, а в других мирах» «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе». — «Братья Карамазовы», 1879-1880.

Достоевский добавляет, что все в нас живет благодаря глубокому чувству этой связи, что исчезни оно, и мы станем безразличны к жизни, даже начнем ненавидеть ее. В тот самый момент, когда Бергот понимает, каким должно быть искусство, когда он обзревает все написанное им, все достоинства и недостатки своих прошлых произведений в свете маленького фрагмента желтой стены на картине дельфтского художника, он чувствует, что с ним сейчас случится сердечный приступ. Он пытается сесть на ближайшую банкетку, повторяя себе, что это ничего, что это, вероятно, следствие плохого пищеварения — зря он съел несколько картофелин. Но это длится лишь несколько секунд. Его самочувствие резко ухудшается, и, не дойдя до банкетки, он падает замертво. И тут Пруст снова бросает свою коронную фразу: «Бергот мертв, мертв совсем?» «Он был мертв. Мертв весь? Кто мог бы ответить на этот вопрос?» — «Пленница», 1923, пер. Н. Любимова, А. Франковского, С. Толстого. И дальше он развивает предыдущую мысль, которая напомнила нам Достоевского, добавляя, что не исключено, что Бергот не исчезнет и не растворится полностью. И заканчивает возвышенной поэтической фразой, которой я не в состоянии передать вам в точности: «И всю ночь, во всех освещенных витринах парижских книжных магазинов его раскрытые книги, по три в ряд, осеняли, словно ангелы с распростертыми крыльями, тело покойного писателя» «Его похоронят, но всю ночь после погребения, ночь с освещенными витринами, его книги, разложенные по три в ряд, будут бодрствовать, как ангелы с распростертыми крыльями, и служить для того, кого уже нет в живых, символом воскресения». — Там же. Смерть Бергота и долгая болезнь, предшествующая ей, сливаются в памяти с близкой смертью самого Пруста, и я хотел бы закончить эти воспоминания несколькими запомнившимися мне подробностями. В последние годы болезнь Пруста все усиливалась. Друзья не понимали всей серьезности положения, поскольку в те редкие моменты, когда они виделись, Пруст блистал, был полон энергии и огня. Его произведение начинает выходить том за томом и поражает читателей. Вот как описывает Пруста в последние годы его жизни Леон-Поль Фарг: во фраке, с лицом зеленоватого оттенка, с иссиня-черными волосами на приеме у Миси Годабской-Серт на фоне фиолетово-серебряных декораций Боннара. Фарг замечает, что этот Пруст сильно отличается от того нервного светского юноши, каким он знал его до войны, что у него появилось что-то удивительно зрелое в улыбке и позе. В нем чувствовалась дистанция, отстраненность, уверенность. К последним годам относится также письмо Пруста, о котором Мориак упоминает в своем «Дневнике»: «Я хочу вас видеть. Я несколько недель не выходил, едва встаю с постели, я был почти мертв». И Пруст подчеркнул в своем письме слово «мертв». Из-за того, что Пруст болел всю свою жизнь, это легко можно было бы принять за литературную гиперболу, а не правду. Но врачи видели,



что его состояние ухудшается день ото дня, усугубляемое «ужасной гигиеной труда», потерей всякой веры в лекарства и режим, который они хотели ему навязать. Он впадал в жуткую ярость, когда его друг-врач пытался заставить его лечиться. Он не мог не понимать, что в том состоянии, в каком он находился, огромное лихорадочное усилие, которого требовала от него концентрация на производстве, ускоряло приближение смерти. Но он сделал свой выбор, не обращал на это внимания и был совершенно равнодушен к смерти. Она застала его так, как он того заслуживал — за работой. Утром его нашли мертвым в постели. На ночном столике лежала опрокинутая бутылочка с лекарством, залившим клочок бумаги, на котором своим мелким нервным почерком он той ночью записал имя даже не второстепенного персонажа «В поисках...» — Форшевиля.

*Перевод с французского Анастасии Векишиной*

## **4: Булат Окуджава: «Это моя жизнь»**

*В конце ноября 1994 г. в московской квартире Булата Окуджавы в Безбожном переулке я записал разговор с ним, который затем появился в переводе на польский (в сильно сокращенном виде) в краковском еженедельнике «Тыгодник повшехны» (1995, 23 июля). Сегодня, может быть, стоит опубликовать этот сохранившийся на магнитофонных кассетах документ в возможно более полном виде. Это, как я сегодня вижу, не интервью, а живой разговор, происходивший за неделю до первой чеченской войны.*

*Гжегож Пшибинда*

— **Булат Шалвович! Вы говорите, что Москву любить нельзя.**

— Нет, Москву нельзя любить. Хотя я москвич и всегда любил свою улицу, свой дом, еще несколько переулков, знакомых мест. Но я прожил в Москве 70 лет и знаю только десятую часть Москвы. Это мегалополис, совершенно нелепый, искусственный, громадный. Не приспособленный для человека. Любить нельзя, а может, и стоило бы...

— **А вот студенты, мои друзья, приехали в Москву впервые два года тому назад, побыли здесь недельку, потом приехали на год, а теперь в Кракове тоскуют по Москве. Они говорят, что чувствуют здесь историю.**

— Историю — да! Но как заурядному обывателю жить — мне это неинтересно.

— **Рядом с домом, где я всегда останавливаюсь в Москве, есть мемориальная доска: здесь жил до 30-го года Булат Окуджава... Значит, вы жили на Арбате до 40-го года, а потом уже никогда?**

— Потом — никогда. Это не мемориальная доска, это просто такое неофициальное... Это молодежь сделала. Есть такая группа людей, которые ко мне хорошо относятся. Они в день моего рождения собираются в моем дворе и поют песни мои там...

— **Значит, 16 лет вы прожили на Арбате. Можете сказать несколько слов об этом?**

— Почему нет? Это моя жизнь. Это мое детство и юность. И конечно, я был влюблен в свою улицу, в свой двор, и долго идеализировал это, и только потом стал понимать, что Арбат — не такая симпатичная улица. Это была главная магистраль, по которой проезжал Сталин. В Кремль из Кунцева. Поэтому на Арбате было очень много агентов: во всех дворах, во всех воротах, в дверях — всюду. Потом многих людей арестовывали: их окна выходили на Арбат, и их подозревали в попытке покушения на Сталина. Арестовывали или переселяли в другие районы. Но тогда я ничего этого не знал. Арбат мне нравился.

— **Читая вашу книгу „Будь здоров, школяр!“, я впервые узнал (я был очень молод), что люди в 17 лет шли на войну. И это тоже факт из вашей жизни.**

— Конечно. Я был очень красный мальчик. Очень красный! Хотя у меня были арестованы родители как враги народа. Но я считал, что наше ЧК не ошибается, — значит, что-то есть.

— **В этой книге мир представлен наивно. Рассказчик как бы смотрит на жизнь глазами этого мальчика...**

— Я был наивен. Я все так себе представлял.

— **Вы, наверное, не раз рассказывали о своей родословной. Но подрастают новые поколения... Скажите несколько слов об этом.**

— Отец мой был грузин, мать — армянка. Но оба они из Тбилиси, раньше это называлось Тифлис. Они очень рано, совсем юными, вступили в партию, находились в подполье, вели подпольную работу. Были такие, значит, революционные романтики. Слепые. Многого не понимали, грамотность была не очень высокая. В общем, честно и бескорыстно служили революции. А потом отец мой окреп на партийной работе, потом его арестовали, и пришлось возмездие. Его расстреляли. Потом арестовали мать, и она 19 лет провела в лагерях. Я был сын „врагов



народа” со всеми вытекавшими отсюда последствиями.

— *А как вы смотрите на тот конфликт, который происходит теперь на этих землях, в Грузии, в Абхазии?*

— Знаете, меня это не удивляет. Меня это очень огорчает, но совершенно не удивляет: я очень хорошо знаю нашу страну и знаю, что это не грузины и абхазы, а это все советская школа. Психология людей резко переменялась, и дружба народов, о которой мы говорили, — это был такой удобный политический флер из-под палки.

— *Вы думаете, что без советской власти не было бы всего этого? Этих кровавых конфликтов?*

— Такого не было бы.

— *Значит, Солженицын прав, когда говорит, что Ленин начал эту бойню...*

— Нет, Ленин не начал. Ленин воспользовался, потому что это все было. Но не в такой степени. А советская власть все это усугубила и превратила в сегодняшний кошмар. Но ведь советская власть не создала новой психологии.

— *По сравнению с царской Россией?*

— Нет, новой психологии не создала. Она просто использовала уже имевшуюся почву, удобную для нее, и развила, усугубила.

— *Вы считаете, что в области психологии советская власть ничего нового не привнесла?*

— Нового — нет. Она просто усугубила то, что уже существовало. Большевики были... И я тут не могу согласиться с Солженицыным, потому что он склонен идеализировать дореволюционную Россию. Нет, это все в ней уже было, конечно. Они были не глупые люди, они прекрасно понимали, с кем они имеют дело и как с кем нужно разговаривать.

— *Продолжало ли советское государство во всем существенном традиции царской России? Или частично?*

— Не думаю, что во всем, но частично, конечно, продолжало. Потому что Россия, к сожалению, была в течение нескольких веков страной рабской. Создавалась определенная психология, и это нельзя изменить в один день. И этим воспользовались. У меня нет возражений против всего, что говорит Солженицын, но мне кажется, что у него есть элементы идеализации прежней России.

— *В области экономической ведь Россия стояла неплохо в 14-м году, до Первой мировой войны.*

— Да. Потому что русская буржуазия создавалась стремительно, под влиянием исторических обстоятельств и условий, и быстро росла. Жизнь заставляла. Но психология в связи с этим абсолютно не менялась.

Приспосабливались люди к новым условиям, к новой жизни. И поэтому большевики, когда пришли, эти негативные стороны использовали в своих целях.

— *Вы затронули вопрос экономики и духовной жизни. Правильно говорят, что прежде всего духовные ценности, нравственность, а потом экономика. Но, с другой стороны, без хорошей экономики, без хорошего хозяйства духовные ценности не слишком процветают.*

— Конечно. Все должно параллельно развиваться. Но я в экономике очень не силен. Мне трудно об этом говорить. А что касается духовности России — знаете, это сложный вопрос. Нас всегда учили кичиться духовностью России. И не только духовностью. Вообще приоритетами России во всех областях. Нас учили кичиться. Мы так росли. Я себя помню. Я так рос. И для меня это было совершенно нормально. Мы — первые во всем. Мы — самые лучше. Мы не совершаем ошибок. Мы не терпим поражений. Только побеждаем. Так воспитывалась нация, народы, населяющие эту страну. А потом начались поражения. Уже в момент перестройки мы стали узнавать о многих поражениях. И наступил шок. Очень полезный. Очень болезненный, но полезный. Вообще поражения — хорошие учителя!

— *Если бы задать вопрос, кто виноват?... Все слои России?*

— Конечно! Россия сама виновата.

— *Значит, и царская власть, и революционеры, и интеллигенция...*

— Вообще Россия виновата. И сваливать на какого-то Иванова-Петрова, на конкретных личностей — это смешно. Но у России никогда не было иммунитета против зла.

— *А Церковь, играет ли она существенную роль теперь в жизни страны?*

— Сейчас? Нет. Пока нет. Ведь Церковь — это один из инструментов нашего государства, нашей структуры... Он такой же больной, как все общество. И этому инструменту тоже надо выздоравливать, лечиться, приходить в себя.

— *Значит, как я понимаю, есть пустое место, которое Церковь должна заполнить?*

— Она не справляется. Она сама не готова, и общество к ней не готово. Есть отдельная часть общества, которая решила, захотела пойти в Церковь и поверить в Бога. Но это неофитство, это чисто внешне.

— *Вы часто говорите, Булат Шалвович, что вы атеист, что вы так воспитаны... В смысле ваших «официальных» отношений с Господом Богом — я понимаю, что вы определяете себя как атеиста. Но, когда я слушаю ваши песни, для меня они звучат как доказательство существования Бога. И мне кажется еще, что, если вы умеете так радоваться существованию мира сего, любви человеческой, общению людей друг с другом, значит, и вы каким-то способом веруете в этот высший смысл жизни?*

— Очень может быть, что это происходит помимо моего сознания. Но я до сих пор — я так был воспитан, — я до сих пор не могу представить себе Бога. Понимаете? Не могу. И слава Богу, что я не притворяюсь. В угоду моде... Я не могу себе этого представить. Мне Церковь совершенно неинтересна, кроме музыки. Вот песнопения

церковные люблю, но не потому, что они религиозные, а просто как великую музыку. Я люблю это слушать.

— **Но если человек может сотворить такое, если мир так прекрасен и жить хорошо...**

— Но вот для меня нет Бога. Для меня есть... ну, логика природы, логика развития природы. Для меня это существует, не познанное мной. Я и не пытаюсь представить себе Бога как личность, как существо, я не могу. Хотя я совершенно не пытаюсь навязать свою точку зрения кому-нибудь и очень уважаю истинно верующих людей. Не притворяющихся, а истинно верующих. Но моя вера вот какова. И я хочу, чтобы меня уважали тоже.

— **Как долго вы живете здесь, в этом Безбожном переулке?**

— Этот переулок был Протопоповский до 23-го года. А в 23-м его называли Безбожным, и тогда это было логично. А сейчас это ужасно. Безграмотность была причиной многих ужасных вещей. Но это логично было, логично в те годы. А в последующие годы, конечно, все это уже стало приобретать вид кошунства.

— **Давайте о ваших песнях... Вы еще заявляете, что петь уже не будете, и все-таки, слава Богу, поете... И приезжаете в Польшу, и поете с гитарой, и вся Польша слушает, молодежь, студенты, которые никогда раньше вас не слышали, вдруг начинают петь... И теперь я читаю в «Русской мысли», что вы были в Париже и там у вас был концерт.**

— Я вам скажу: я очень часто заявлял, что все, больше писать песни не буду. Для меня это было, знаете, хобби всегда. Это не было главной моей профессией. Ни играть на гитаре я не умею, ни певец я. Но пел, пел, нравилось, а мне уже надоело. Вот и постепенно-постепенно я переставал писать. Но потом природа делала свое дело. Она меня заставляла, и у меня снова появлялись песни, и опять... Но последние 8 лет я песен не писал. И когда я выступал, я исполнял старые песни.

— **Публика была, конечно?**

— В Париже? Ну-у-у! Забито все было. Но я на этом концерте, а до этого в Америке исполнил новую песню. За 8 лет у меня появилась одна песня. Я ее исполнил. Очень она понравилась публике. Может быть, я опять буду...

— **Может быть, будете еще.**

— Я не говорю — «нет» — категорически. Бывают периоды, когда не хочется и все. Да и возраст уже... Знаете, выступать с гитарой... И голос сел...

— **А вы знаете, как отмечали в Польше ваш день рождения? По радио почти весь день передавали ваши песни. В нашем институте люди говорят, как время быстро течет, Булату уже 70 лет. Расскажите теперь о себе как об авторе исторических романов. «Дайте дописать роман до последнего листочка!» Ваш роман о декабристах... Связи, которые идут красной нитью от Пестеля до большевиков...**

— Когда мне предложили написать роман о Пестеле, я жил очень плохо. Это был хороший гонорар, и я согласился. Согласился, а потом думаю, что ж я делаю?! Я не прозаик, и как я буду писать!? Ну, конечно, пошел в архивы, взял там всякие книги и стал изучать декабристское движение. И когда я познакомился с жизнью Пестеля, он мне очень не понравился. Он меня очень разочаровал. И тогда у меня возник новый герой. Главный герой, писарь Авросимов. А насчет большевиков, я не могу сказать, что все декабристы у меня ассоциируются с большевиками. Но Пестель был, конечно, предтеча большевиков, и Ленин — продолжатель его дела. У Пестеля в «Русской правде» была такая статья, где говорилось, что когда они возьмут власть, то надо все малые народы выселить в Сибирь. Они им мешали.

— **Может ли история быть для народа учительницей жизни?**

— Для русского народа? Не думаю... Ну, может быть, отдельные представители общества, сознательные и думающие, мыслящие, они это поймут, или понимают, или будут интересоваться историческим процессом, а широкие слои — нет.

— **Значит, исторический процесс происходит иррационально?**

— Да, иррационально, конечно. Особенно в России. Вот Солженицын хочет сказать, предостеречь, что мы накануне революции... А кто знает, что значит «накануне революции»? Никто этого не знает. Для них это пустые слова образованных людей, которых Россия всегда презирала.

— **А что опасно для России теперь? Возможна ли фашизация страны?**

— Вы знаете, есть и приятные для меня обстоятельства, которые я наблюдаю, и есть неприятные. Неприятные — это мое знание истории и, в общем, пессимизм в отношении российского общества. Я думаю, что возможен и фашизм в своеобразной форме, и все что угодно. Но, с другой стороны, три года тому назад происходили выборы в Верховный совет и баллотировались несколько отвратительных людей. Отвратительных! И я понял, что дело наше плохо: если эти люди будут депутатами, то это уже конец. Но никого из этих людей не выбрали. Значит, люди не дураки все-таки, я подумал. Вот это немножко утешает.

— **А казус Жириновского, который так беспокоит людей вне России. Вы вообще думаете об этом? Это для России типично или нет?**

— Не знаю, в России все может быть, но что касается Жириновского... В России очень быстро надоедают люди. Очень быстро. Сначала им кричат «Ура!», а потом перестают кричать и занимаются своими делами. И уже кричат «Ура!» другому человеку. Вот он уже надоел. Он клоун. На самом деле он умнее, чем выглядит.

— **Он нервный, мне кажется, он нервничает...**

— А может быть, не нервничает, а изображает нервничающего... Во всяком случае он очень быстро стал знаменитым и все делал для того, чтобы стать знаменитым. Может быть, если понадобилось бы раздеться голым

и пройти по улице, он бы разделся, чтобы его знали хорошо. Вот как Лимонов, например.

— ***А Лимонов, что же он такое теперь? В Польше никто не знает о нем.***

— Ну, был такой... Поэт был в Москве. Известный. Приехал из Харькова. Жил тут среди поэтов. Зарабатывал тем, что шил брюки. Потом уехал на Запад, стал писать прозу. Потом он захотел — ну, тщеславный человек! — захотел, чтобы его все хорошо знали: приехал сюда и впутался черт знает во что. Он теперь выступает за Сталина и советскую власть. Он прохиндей, конечно, но, в общем, он хочет завоевать популярность в России, потому что его никто не знал. Ему надо было шум устроить, и он устроил шум. Для примера, возьмите какую-нибудь националистическую группировку. Из кого она состоит? Она состоит из 99% темных людей. А 1% во главе — это образованный человек, который хочет стать вождем. Вот и все. И это всегда так. Во главе встают мыслящие люди, грамотные люди. И они распространяют свое влияние на темных людей.

— ***Но посмотрите, какие теперь у России проблемы в так называемом ближнем зарубежье. Судьба русских в Казахстане, в Прибалтике действительно нелегка... Никто не будет противоречить этому. Однако здесь, в Москве, бабушка в метро, которая заметила мой якобы латышский акцент, отнеслась к этому с нежностью. Значит, у нее нет этого отношения?***

— Нет, у нее нет и не будет, и у латышей нормальных не будет... Но вдруг в Югославии... — разве не было всего этого?

— ***Вдруг они начинают резать друг друга.***

— Нет, простите меня, в том-то и беда, что это было и раньше. Это было в глубине.

— ***На каком уровне?***

— В глубине, на бытовом уровне. Я много раз бывал в Югославии, в разных ее частях. В Хорватии, когда я говорил о сербах, мне говорили: «Ха-ха, сербы — хорошие люди, конечно. Но... малообразованные, да и вообще...». Потом я ехал в Македонию и говорил о хорватах. «Ну, — говорили мне, — хорваты — это немцы». Все это было, но прикрывалось палкой режима. Нельзя было это показать. Понимаете? Когда палку убрали в чистом виде, это все вышло наружу. Это все было внутри: отвращение друг к другу, злоба мелкая, так же, как в Грузии, например. Там говорили: «Он армянин, но хороший человек». Понимаете? Это все было! Это все советская, коммунистическая болезнь.

— ***А как, по-вашему, кончится конфликт между Абхазией и Грузией?***

— Я не представляю себе. Но, например, Фазиль Искандер — абхаз, и мы с ним дружим, говорим на эту тему. Он видит на сегодняшний день только возможность создания автономии, абхазской автономии в пределах Грузии. А иначе это вечная война. Абхазы будут отделяться, Грузия будет говорить — это наша территория! И это будет вечно. Абхазия была автономией, но условной автономией. А нет! Сделать нормальную автономию.

— ***А что грузины будут делать, которые жили в Сухуми? Я читал недавно в «Русской мысли» интервью с грузином, который в Сухуми жил и говорит, что конфликт будет вечен.***

— Да, может быть. Теперь уже зашло так далеко, что на два поколения хватит этой ненависти. То же самое Азербайджан и Армения. Уже война, и это тоже на 2–3 поколения.

— ***Значит, мир без национализмов невозможен? «Счастливый конец» истории невозможен в ближайшее время?***

— Мы живем сейчас в такой период, когда это все данность, совершенно реальная. Как это кончится и когда, я не знаю. И у меня нет надежды уничтожить это, понимаете? Нет! У меня есть желание пригасить это, чтобы не было крови. Пригасить. А для этого что необходимо? Вот я считаю, что необходимо России? России необходим авторитарный режим. Сильный, авторитарный. Де Голль нужен. Но в России это невозможно. Потому что всякий авторитарный режим в России через полдня перерастает в диктатуру и тиранию. Вот во Франции де Голль смог.

— ***Ситуация России похожа на ситуацию Франции перед приходом де Голля?***

— Хуже, хуже.

— ***Года два назад я брал интервью у профессора Жоржа Нива. Он рассказал, что говорили во Франции, когда де Голль решил отдать Алжир алжирцам. Левые говорили, что этого слишком мало, что раскаяться надо, на коленях просить у алжирцев прощения. А правые — что не надо отдавать. И вдруг он — между молотом и наковальней. И все-таки история доказала, что он выбрал правильный путь.***

— Де Голль был великий человек при всех его недостатках. Это уже теперь известно.

— ***Ельцин — это не де Голль?***

— Нет!

— ***А кто?***

— У Ельцина есть масса недостатков и слабостей, но есть и достоинства, которые я очень ценю. Во-первых, Ельцин — человек, не жаждущий крови. Во-вторых, он не ради себя все это делает. Я в этом уверен на сто процентов. Он хочет сделать добро России. Он не жулик, понимаете. И третье, он умеет признавать свои недостатки. Ни один из российских руководителей никогда не признавал своих ошибок. А у него это есть, и это большое достоинство. А недостойнств у него полно... Они ему мешают.

Но мы живем в таком сумасшедшем обществе, что если даже вместо Ельцина пришел бы гений, он все равно не смог бы сразу привести в чувство это общество. Нужно время. Время, и трагедии, и потери, и все это необходимо. Я знаю массу недостатков Ельцина — может быть, я не прав — я не вижу сегодня человека,

способного быть на этом месте.

— **Значит, тогда, в октябре 93-го, когда он отдал приказ стрелять по Белому дому...**

— Тогда тем более!

— **Это была трагедия для него?**

— И для него, и для нас. А теперь выясняется, что можно было не стрелять по Белому дому, а достаточно было одного взвода специальных войск — и все было бы прекращено.

— **А не думаете, что все-таки политик, который делает такую ошибку, должен предстать перед выбором народа? И организовать новые президентские выборы?**

— Наверное. Но я теперь прекрасно понимаю, почему это произошло. Не по злему умыслу, не потому что Ельцин — кровожадный человек, а потому что в тот вечер была страшная паника. Военные были в стороне. Милиция исчезла. Решался вопрос: или вас сейчас всех уничтожат, или что-то надо делать. И был отдан приказ стрелять, хотя можно было другим путем действовать. Это была паника, отчаяние. Я понимаю, за это надо расплачиваться. Я думаю, что наступит такой день, когда Ельцин будет каяться перед обществом. Но я другого не вижу человека.

— **А что вы скажете о Горбачеве?**

— Ну что я могу сказать о Горбачеве? Когда-нибудь ему памятник поставят. Хотел он сделать то, что сделал, или не хотел — я не знаю. Может быть, не хотел, а случайно вышло...

— **Но он будет еще играть какую-нибудь роль в истории страны?**

— Не думаю. Я бы хотел — если бы я был с ним близко знаком, я бы ему сказал: не надо. Не надо! Так что я могу сказать? Что он великий человек, он это сделал. Правда, мне кажется, что когда он начинал, то надеялся построить капиталистическое общество под руководством коммунистической партии. Так себе представлял.

— **А вы думаете, что без него все это не произошло бы?**

— Произошло бы, но с некоторым опозданием. Потом я должен сказать, что начал-то этот процесс не Горбачев. Когда-то этот процесс начал Хрущев. Но очень жалко начал, чуть-чуть. И потом быстренько-быстренько все свернул.

— **Но для вашего поколения это даже важнее?**

— Нет, не важнее, но очень важно, конечно. Потому что (мне трудно объяснить) вот что произошло тогда... Вроде почти ничего не изменилось. Газеты были те же самые. Вся ложь была та же самая. А что-то так резко переменялось: сказали о Сталине, стали выпускать людей из тюрем и лагерей. Это было начало. Но потом все это перегорело...

— **Это 56-й год. Вы — так называемый шестидесятник...**

— Обо мне так говорят. В общем, конечно, я шестидесятник, потому что моя общественно-сознательная жизнь началась в шестидесятые годы.

— **Значит, и оттепель имеет для вас очень важное значение?**

— Конечно! Потому мы и появились.

— **Значит, то, что было при Хрущеве, — это качественная разница по сравнению с тем, что было раньше. А Брежнев? Брежневский период — это возврат к сталинизму или все-таки нет?**

— Нет, возврата не было, конечно, в чистом виде. Но ложь усугубилась. Воровство усугубилось, потому что при Сталине из престижных соображений воровство подавлялось. А при Брежневе... Он сам воровал и всем разрешал. (Смеется.) Было очень трудно объяснить — вы поляк, Вы это понимаете, потому что Вы в нашей же системе существовали, — а западным людям... Я с одним говорил, это просто смешно было, потому что я говорил, как трудно было при Брежневе: могли, например, обвинить и посадить в сумасшедший дом. А он мне говорит: «То есть как в сумасшедший дом?! А вы бы пожаловались в суд!» Он не понимал, что такое был наш суд. В газету обратиться... Смешно. В какую газету! Вот сейчас суд такой же, как был. Ничего, пока ничего не изменилось, к сожалению. Но должно перемениться постепенно.

— **А нужен ли России капитализм?**

— Не знаю — в чистом виде? А во Франции — в чистом виде капитализм? Нет, какая-то новая форма. Там очень сильна социальная защита, понимаете, вот в Америке рабочий, трудящийся живет на хорошем уровне.

— **Ну да, но, чтобы делить, надо заранее сделать продукты для дележки...**

— Насчет дележки я тоже не знаю, насколько это верно. Но, во-первых, я не знаю, называется ли это капитализмом или как-то иначе, потому что, когда мы говорим капитализм, мы подозреваем первоначальный капитализм: толстый капиталист в цилиндре и рядом нищие рабочие. Нет, теперь ведь это не то. Капитализм — очень гибкая система. Нужен ли России капитализм, я не знаю, но России нужна свобода творчества.

— **Но что естественно для человека: капитализм или социализм?**

— Капитализм, при всех его недостатках, — это результат естественного развития общества. Социализм — это придуманная система. Искусственная. Для меня нет крайностей. Для меня нет выбора: или Запад, или сугубо своя культура. Для меня есть: если это удобно и полезно, это мы берем с Запада. Если это неудобно, бесполезно и бесполезно, мы этого не берем. Вот и все. Так же, как Запад берет у нас, что ему удобно и полезно. И Франция берет и у Америки, и у Англии, и у Германии, но от этого она не перестала быть Францией. Неужели наша нация настолько ничтожна, что малейшее влияние Запада уже и вид ее изменяет!? А если мы отгородимся железной

стеной, мы превратимся вообще в ублюдков. Сейчас, наоборот, период конвергенции идет, серьезно очень все это. От людей зависит.

— *А Солженицын, который вернулся? Некоторые говорят, что вернулся пророк из Вермонта, который ничего не понимает в ситуации страны и вдруг заговорил громко. Его никто не слушает, он хочет быть пророком, а России не нужны пророки.*

— Нет, не совсем так. Резон какой-то есть в этом, потому что 20 лет отсутствия, конечно, мешает многие мелочи нашей жизни понимать... Специфику нашей жизни. Конечно, желание — не желание быть пророком, а желание сказать, послужить своему народу воспринимается как желание быть пророком.

Но где-то, я думаю, он постепенно разберется и, может быть, с такой настойчивостью не будет сообщать уже известные вещи. Вот недавно была передача с ним, в понедельник. Он, по-моему, с женой выступал.

Замечательная была передача! Они говорили о книгоиздательстве. Прекрасная была передача. А когда он начинает по мелочам политическим или экономическим говорить, это неинтересно.

— *А ваш новый автобиографический роман?*

— Он вышел уже. Вот Краков будет издавать. А по-русски это вышло в журнале «Знамя». «Упраздненный театр»

— это роман о моем детстве, 30-е годы, до катастрофы, до 37-го года. Рассказчик — 10-летний мальчик. И там мои родители. Конечно, там есть намек на то, что они в растерянности и что-то происходит. Тревога какая-то. Но я их люблю. Это мои родители. А один критик пишет, что вот-де Окуджава написал очень обаятельный роман, но как он мог так хорошо говорить об этих коммунистах?! Это десятилетний мальчик о своих родителях!

— *У вас нет тоски по той объективной поэтике, где рассказчик все знает?*

— Не знаю, я очень натуральный человек и делаю то, что у меня получается. А это уже Ваша задача судить обо мне. Я Вам скажу, что я живу по двум пословицам. Первая — это Лопе де Вега: «Пусть все течет само собой, а потом посмотрим, что случится». А вторая — чеховское выражение: «Умный любит учиться, а дурак — учить». Это я помню хорошо и поэтому стараюсь никого не учить, не поучать, а описываю свою жизнь. А вам — как понравится. Если вы из этого что-то можете извлечь, это ваше дело.

— *Что значит для вас Польша и, может быть, Краков?*

— Польша — моя первая любовь. Польша — первое государство, в которое я попал. Польша — первая страна, которая издавала все, что я писал, в отличие от Советского Союза. Хорошо переводили. Самые лучшие переводчики переводили! А потом... я не могу этого утверждать, но что-то совпало в польской психологии и польской судьбе с моими вещами. Поэтому в Польше так активно приняли то, что я делал. Потому что, например, в Чехословакии тоже меня знают и очень хорошо, но этого вот, родственного нет. Не случилось. Я даже шутил, помню, что если бы я эмигрировал, то в Польшу. А Краков? В Краков впервые мы попали с Олей вместе, и нам очень понравился Краков. Это давно было, в 67-м году.

— *А вы когда-нибудь еще приедете?*

— Я бы приехал, но если не петь. Я думаю, что самая лучшая форма, которая уже проверена — я встречаюсь с аудиторией, мне задают вопросы, я отвечаю...

Москва, ноябрь 1994